

*Ольга
Кобылянская*

**„В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ РАНО
ЗЕЛЬЕ
КОПАЛА...“**



152
Ольга Кобылянская

**„В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ РАНО
ЗЕЛЬЕ КОПАЛА...“**

ПОВЕСТЬ

Перевод с украинского
И. Дорбы и П. Карабана



Киев
Издательство
художественной литературы
«Дніпро»
1986

Повесть классика украинской литературы
Ольги Кобылянской (1863—1942) основана
на мотивах народной песни «Ой не ходи, Грицю,
на вечерини». Писательница воспевает красоту
и неодолимую силу человеческих чувств,
стремление людей жить полной,
красивой и гордой жизнью.



Ой не ходи, Грицю, на вечерини¹,
Бо на вечеринцях дівки чарівниці.
Содоуму излять і зілля варить,
Тебе, Грицуню, адорovali позбавлять.

Тамта одна чорнобривая,
То чарівниця справедлива!
І чарівниця, і зілля знає,
Тебе, Грицуню, задрісно кохає!

В неділю рано зілля копала,
У понеділок попелоскала.
А у вівторок зілля варила,
В середу рано Гриця отруїла.

Прийшов же четвер — Гриценко умер,
Прийшла п'ятниця — поховали Гриця,
Сховали Гриця близько границі,
Пізнали за ним всі молодіці.

І хлопці Гриця всі жалували,
Чорнобривую всі проклинали;
Нема й не буде другого Гриця,
Що го зігнала з світу чарівниця!

В суботу рано мати доюю була:
«Нащо ти, суко, Гриця отруїла?
Не знала-сь того, що зілля уміє?
Що Гриць скопає, нім когут заніє?»

«Ой мати, мати! Жаль паги не має,—
Най ся Грицуню у двох не кохає!
Оце ж тобі, Грицю, за тее заплаता:
Із чотирьох дощок темная хата!»

Это было давно. Поэтому никто не знает даже названия
местности, где произошло событие, о котором здесь рас-
сказывается. Знают только, что в горах.

Среди гор, поднимающихся величественно ввысь, пря-
талось, словно в котле, довольно большое село.

¹ Перевод песни см. на стр. 183.

Леса здесь — вековые, дремучие...

У подножия одной из гор, под названием «Чабаница», к которой и жалось наше село, протекала бурная река. Шумная и быстрая, неслась она, пенясь, через громадные недвижимые каменные глыбы. Река эта окаймляла Чабаницу, словно хотела ее обнять. Казалось, к этой-то реке и спускались с самой вершины Чабаницы густыми рядами пихты один за другим. И остановились глубоко в долине, уже у самой реки.

Стояли они здесь, распластав зеленые крылья, с уходившими вверх кронами, и шумели... Не так, как в долине одичавшая река, — с ее громким плеском, рокотом и гулом, — а по-другому, на свой особый лад.

Что-то в воздухе, спокойное и в то же время тоскливое, взволнованное и крылатое, убаюкивало, клоня ко сну, — исходя при этом печалью. Ровно и осторожно, тут тихо, а там и совсем шепотом, и всегда монотонно, и всегда — только шум и шум...

Тоскливо было расти деревьям на вершинах.

Куда ни глянешь, вокруг одно и то же. Везде море зелени, всюду однообразное колыханье, вечное повторение одного и того же.

Вон на той горе пихты густыми рядами упрямо карабкались из долины наверх.

С той же сбегали, распахнув руки, с размаху вниз.

И так — повсюду.

И летом, и зимой, и в ведро, и в ненастье, — всегда одно и то же. Всегда одна и та же песня, одинаковый ритм. Одинаковое баюканье, одинаковый шум...

Неподалеку от реки, примыкая огородам к горе Чабанице, стоял, вместе с прилегающими к нему постройками и мельницей, дом широко известной вокруг богачки, вдовы *Иванихи Дубихи*.

Шумела река, гудела мельница, шумели сосны — всё разом; ночью ли, днем ли — они держались всегда вместе.

Зеленели пихты, заслоняя и осеняя густой тенью дом известной богачки, набожной и строгой хозяйки *Иванихи Дубихи*.

С тех пор, как она вышла замуж, у нее в огороде красовались цветы.

Красовались они до поздней осени, так как она еще с девичьих лет их любила. А овдовев и оставшись только с единственным своим ребенком, так привыкла к ним, что ее огород у дома, хоть и не слишком большой, показался ей без цветов хуже пустыни.

Самыми красивыми были там многолетние красные маки, которых ни у кого, кроме нее, во всем селе не было.

* * *

В этом-то замкнутом со всех сторон горами селе, к великому удивлению его жителей, провели как-то несколько дней цыгане. Не один или два, как мог бы кто-нибудь подумать, а целый табор, который внезапно появился на нескольких телегах. Проехав много городов и сел, цыгане на обратном пути в Венгрию расположились со своими шатрами именно здесь, у венгерской границы, по соседству с горой Чабаницей, неподалеку от села.

Жителей, хоть были они и не робкого десятка, крайне встревожило появление этих непрошенных темнолицых гостей. О них издавна рассказывали вещи, не вызывавшие к ним симпатии. Уже одна только связанная с ними легенда, правда не всем известная, — будто их предки отказались приютить Марию, бежавшую с Иосифом и божьим младенцем на руках, — вызывала к ним враждебное чувство. К тому же всем было известно, что у цыган повсюду в горах были тайные притоны и убежища, откуда они нападали по ночам на путников, грабили и убивали их, обогащаясь добытым таким образом добром. Потом исчезали так же загадочно, быстро и таинственно, как и появлялись. Куда, как и что — никто толком не знал. Прикочевав куда-либо, они раскладывали по ночам большие костры, оповещая жителей о своем появлении. Потом днем разбредались поодиночке по деревням — кто за милостыней, кто расспрашивая, нет ли котлов в почипку; одни — собирать в горах чудодейственное зелье, другие — воровать; те играть на скрипке или на шимбалах за кусок хлеба или какую-нибудь старую одежонку, — а эти, как уже сказано, — грабить путников; и все это в какой-то спешке, всё — будто на лету.

Появившись на этот раз здесь, в этом селе у подножия Чабаницы, они попросили разрешения задержаться на неделю. Им отказали, сократив срок пребывания наполовину.

ну. За эти несколько дней случилось у них происшествие, которое еще долго помнили.

Прибывший табор состоял из пяти крытых запыленным рваньем фургонов, откуда выглядывали устрашающие черные косматые головы старых и молодых цыганок и детей.

По бокам и позади телег, запряженных лошадьми и мулами, шли цыгане, с любопытством оглядывая все вокруг блестящими черными глазами.

Как уже сказано, они раскинули шатры неподалеку от села и реки, у подножия Чабаницы, и тотчас же, с наступлением сумерек, разложили большой костер.

На третий день после их приезда в одном из шатров поднялись шум и гам, не затихающие два дня. Именно на третью ночь по их появлении молодая Мавра, жена цыганского атамана Раду, родила сына. Отец, увидав, что ребенок на удивление бел, набросился на несчастную мать с бранью, угрозами и кулаками, обвиняя ее в измене. Старая мать несчастной, — почитаемая, по цыганскому обычаю, за преклонный возраст, — больше всех в таборе, защищала дочь, с диким криком и бранью бросалась вихрем между нею и Раду, в то время как чуть ли не все мужчины были на стороне обманутого мужа, их вожака.

— Опозорила табор, нашу чистую цыганскую кровь первым же сыном, чтоб ей утра не дожидаться! — шумели они, проклиная ее, вместе со своим разъяренным вожаком и батьком, который кипел от обиды и жаждал мщения. Он грозил кулаком, стоя среди цыган, столпившихся у шатра изменницы и повторяющих за ним, в один голос: «Первым же сыном!..»

— Откуда взяла ты эту белую собаку? — бросался снова и снова Раду к больной, которая лежала почти без чувств на телеге среди подушек и лохмотьев, то прижимая и заслоняя собой младенца от дикого, горящего, разъяренного взгляда мужа, то снова цепenea от страха перед тем, что может в любую минуту произойти.

Лучше бы ей умереть, чем дожить до этого. Ей хотелось бы умереть, да что от этого?! Несчастлиная не произносила ни слова, замирая от страха...

А он сам, Раду, гораздо старше ее, в каком-то синем кафтане с большими серебряными пуговицами и бубенцами, с украшенной серебром толстой палицей в руках, — знаком, указывающим, что он вождь этого, пусть и небольшого, табора, повторял одно и то же:

— Откуда ты взяла его? Однако я тебя научу, ты у меня поймешь, кто такой Раду, я покажу тебе, чьей ты женой была, — и с такой силой трепал бедную за волосы, что она только стонала. — Поймай, я тебе покажу. Через три дня духу твоего не будет в этом шатре, а это отродье (и он показывал на ребенка) заброшу аж за третью гору отсюда. Ты думала, что выйдешь за меня, а потом опозоришь меня и весь мой табор? Пропaday же ты, сука, если не понимала своего счастья и того, как должна вести себя жена рая¹. Гляди! — грозился он. — Гляди! Какого сына после трех лет замужества родила! — и захохотал, сплюнув сквозь зубы. — Твое счастье, что еще лежишь среди нас, да что отец твой *Андронати*, а мать старше всех в таборе; а то и трех дней не потерпел бы я тебя в своем шатре, — и, топнув в ярости ногой и презрительно сплюнув, вышел из шатра...

Мавра запустила свои тонкие смуглые пальцы в волосы над низким лбом и ослабевшей рукой рванула их. Из молодой груди вырвался тяжелый, мучительный стон... а потом умолкла, болезненно закрыв глаза, из которых струились горячие слезы. Большие серебряные монеты, вплетенные в черные пряди волос, вдруг сползли низко на лоб, придав смуглому, будто из бронзы, лицу удивительную, чарующую красоту...

Ночь была летняя, ясная, спокойная, и темные лесистые горы великанами вздымались до небес, а вершины самых высоких из них словно расплывались в лунном сиянии и прозрачной ночной мгле...

Раду появился среди цыган. Здесь собрались только мужчины, одни лежали, другие сидели вокруг большого костра, курили и обсуждали случившееся... Женщины и девушки в это время хлопотали вокруг другого костра, поменьше, — стрипали, нянчили ребят, кормили и укладывались с ними на покой, толкуя не менее пылко о дальнейшей судьбе молодой и красивой Мавры, которой давно завидовали, потому что Раду, выбирая ее себе в жены, подарил ей серебряные и золотые монеты и потому что она, гадая простым людям и господам, добывала больше денег, чем другие; и вот теперь, после трех лет замужества, она родила своему мужу *белого сына с синими глазами!*.. Тьфу!

¹ Ра й — цыган-вождь.

Как уже сказано, Раду появился среди своих людей и, не проронив ни слова, швырнул широкополую шляпу оземь.

— Раду! — начал тогда старый Андронати, отец молодой двадцатилетней преступницы. — Раду, что ты хочешь сделать? Я знаю, что Мавра виновата, знаю, как велит поступать наш обычай за измену женщины, и знаю, что если не мы накажем, то грех сам может покарать ее не меньше нашего. Покарать сейчас, или через двадцать лет, или еще позже, но покарать должен. Что ты хочешь делать? Мавра виновата. — И с этими словами он покорно склонился перед молодым вожаком.

Раду не ответил ничего, а вместо ответа разодрал на груди своей синий кафтан и снял с шеи небольшой мешочек.

— Освободите мне место! — крикнул он. — И слушайте внимательно!..

Цыгане задвигались, освобождая место молодому вожаку, и расположились вокруг него, полные любопытства и покорности. А Раду, как истинный царь ночи, гневно и гордо потрясал головой с ниспадавшими на плечи длинными выющимися черными волосами, отличительным признаком свободного человека. Потом сунул руку в мешочек и, вытащив полную горсть блестящих червонцев, швырнул их оземь, как перед тем свою шляпу, и крикнул:

— Вот раз — тому...

И, проделав то же самое снова, крикнул опять:

— Вот два — тому... А вот и три — тому, кто уберет с моих глаз за два дня изменницу, а с ней и ее белую собаку!..

...Цыгане сразу притихли, но ненадолго; вскоре послышался шум, походивший сперва на бречанье басовых струн, а затем — на шелест листьев...

Все знали, что у них очень тяжело карают за измену, но то, что они услышали этой ночью, — такого у них никогда еще не было; такого — нет! Сколько драк и злодейств бывало среди них! Чего только не случалось. Но чтобы сам рай выступал и приказывал убрать свою жену, расплачиваясь за это чистым золотом, — такого среди них еще не бывало. Подобное могла придумать лишь такая обезумевшая от ревности, отчаянная голова, как Раду.

В первую минуту не знали, что и сказать, с чего начать. Их захватило врасплох это страшное решение вожака. Поэтому они молчали.

Но недолго длилось молчание встревоженных цыган. Снова поднялся старик — отец Андронати, высокий, тонкий, бородатый цыган, первый среди них музыкант, — и теперь державший скрипку в руках.

— Погоди, Раду... — сказал он, поднимая руку плавным жестом. — Погоди ты, Раду. Над всеми нами есть бог, и мы все его дети: и белые и цыгане, Раду и Мавра. Ты на ее судьбу...

Раду прервал старика, с его уст сорвалось страшное проклятье, но Андронати продолжал:

— Ты, Раду, единственный сын у своего отца, старейшины в Семиградье, а Мавра единственная дочь у меня, знаменитого музыканта Андронати из пусты¹, — и вы поженились. И потому для меня ты — то же, что Мавра, а Мавра — то же, что ты. Не позволю я Мавру изгнать или погубить, как ты этого хочешь, хотя знаю, что наши обычаи велют за любую измену жестоко карать, все равно мужа или жену. Я бы и тебя не позволил погубить, случись что-нибудь, и законно потребовал бы этого. Мы будем судить Мавру иначе, по-хорошему, по-человечески. Позволь ей только еще три дня пожить среди нас, об этом тебя просит отец Андронати. — И, сказав это, он склонился перед молодым вожаком.

— Изменница она отъявленная, чтоб ей утра не дожидаться! — опять вырвался дикий крик из kloкочущей яростью груди мужа.

— Может, и не дождется, — отозвался старый Андронати. — Уж больно ты хочешь со свету ее сжить. Пожалуй, она сама уйдет от нас навеки, и твои золотые дукаты останутся при тебе.

— Пусть уходит, пусть уходит! — поднялся гомон среди цыган. — Опозорила нас. Первым же сыном, первым же ребенком! А что будет дальше! Воя ее, она сама себе дорогу выбрала! — крикнул голос из толпы. — Вон!

— Нет, убить, чтобы и с другим так не поступила! — шипел Раду. — Убить!

— Через три дня Мавры не будет среди нас, — отозвался снова Андронати. — Ее судьбу решил уже сам ребенок, которого вы разорвали бы на куски, даже останься Мавра среди нас. Каждый колотил бы его. А так... она исчезнет с глаз ваших и Раду.

¹ Пуста — степь (венгр.).

— Сам убьешь? — раздался вторично голос из толпы, голос товарища Андронати, щимбалиста.

— Сам.

— Тогда бери золотые!

— Нет! Оставляю их вам. Пользуйтесь ими вы. Вы все моложе меня. Мне они не нужны. Мавра отныне словно и не дочь мне. Мне они не нужны. Кусок хлеба для себя и своей жены я добуду. — И, гордым движением протянув вперед скрипку, погрозил кулаком молодому вожаку.

— А щенок твоей дочки? — спросил тот, гордо выпрямившись и сверкнув ненавидящими глазами на неустрашимого тестя. — Мне он не нужен. Убью, затопчу, как гаденыша!..

— О нем не думай. Я беру это на себя. Он... — И внезапно оборвал свою речь.

Между ними, точно призрак, появилась вынырнувшая из какого-то шатра старая мать Мавры. Страшная, косматая, с монистом из серебряных монет на груди, замерцавших при лунном сиянии. Вынырнув, она тут же упала к ногам Раду и Андронати.

— Простите Мавру, коль согрешила, не губите молодую, бейте, избивайте, но только жить ей дайте! — заголосила она в отчаянии, простирая умоляюще руки. — О Мавра, Мавра, что ты натворила? Что на тебя нашло? Каким вражеским ветром тебя овеяло? С какой стороны? В долинах ли, в горах ли? Мавра, доченька моя... сердце мое... Мавра! — кричала она не своим голосом. — А я тебя, доченька, при свете месяца зельем обмывала, для тебя чуть не каждую ночь о доброй доле умоляла. Малым дитятком тебя медом кормила, от дурного глаза... пока замуж не отдала... как от огня... оберегала. А пришел лихой час и с ним твой враг... и вот это... ой, спасите, смилуйтесь... хоть на несколько дней мне ее дайте... хоть до пусты... дозвольте довести, потом убивайте, да вместе со мною... — и бухнулась головой в землю.

— Отойди, старуха! — крикнул Андронати. — Зачем сюда приползла!.. Чтоб побили? Уж забыла? Не полагайся очень на свои седины. Прочь, говорю, отсюда. Прочь от мужчин. Не видишь — совет? Тут Раду и люди судят. Скажи последнее слово, а пока я свое скажу! — обратился он опять к вожаку. — Позволь Мавре хоть четыре дня меж нас пожить, немного поправиться, чтобы ее отец напоследок перед вами ей сыграл. Перед вами... попро-

шался бы с ней. Потом... либо... прости, либо поступай по своей воле, рай... — и опять смиренно поклонился.

— Не прошу я Мавре, я ее видеть больше не хочу. Нам с ней не жить! — злобно отозвался Раду. — Сама виновата...

— Сама... сама... — прошел чуть слышно льстивый шепот среди цыган. — Сама, только она!

— Это твое последнее слово, Раду? — спросил Андронати, а старая мать заголосила снова, запустив руки в седые волосы.

— Последнее.

И снова повторил то же, что сначала, бросив горсть червонцев на землю.

— Это первый раз тому...

— Это второй раз тому...

— Это третий раз тому, кто избавит меня каким угодно способом через четыре дня от проклятой изменницы. Слышали мое слово?

— Слышали.

Поднялся тогда в ответ на эти слова со своего места музыкант Андронати. Поднялся и обвел странным взором все вокруг. Станный огонь горел в его черных сверкающих глазах.

Сунул скрипку под мышку и сказал:

— Я уйду. Послезавтра вечером вернусь. Тогда встретимся. Прощайте!

И, наклонившись к жене, которая, обезумев от горя, лежала на земле, крикнул:

— Что с ума сходишь? Ступай к Мавре. Никто не посмеет ее и пальцем тронуть, послезавтра вечером уйдет она от нас, и ты отвечаешь мне за нее. Я уйду и вернусь. Послезавтра вечером все, как сегодня, соберитесь здесь — и ждите. Андронати худого не принесет. Тем временем обсудите, кто из вас подберет червонцы за Мавру. Я иду... И ушел...

На третий день вечером он вернулся.

Снова кружок цыган в разных позах. Среди них Раду. Бледный и беспокойный, как демон. Минуту назад дрался он со старой матерью своей больной жены, выгнавшей его из Мавриного шатра.

Неслыханное дело у цыган — чтобы женщина подни-

мала руку на мужчину, да к тому же еще и мать Мавры! Изменницы этой!

Но он всем покажет. Всем. И старым и молодым. Изменницу — да еще защищать? Нет, он ей покажет. Старухе и...

...Когда они так сидели, подошел к ним Андронати со своей скрипкой. Скрипку отдал пришедшему вместе с ним товарищу-цимбалисту, а сам вынул большую пузатую бутылку с водкой и поставил в круг среди цыган.

— Пейте до дна, братья! — воскликнул он. — Пейте и не жалейте. Сегодня Андронати прощается со своей Маврой, так запомните же этот вечер! Мавра! — крикнул он и ударил себя кулаком в грудь. — Мавра! — И от внезапно охватившего горя голос его задрожал. — Не можешь ты еще, голубка, к нам выйти... Но ты там не одна. С тобой мать и все жены ваши, братья мои... Пусть она не знает, что завтра ее последний день среди нас. Но Андронати, — продолжал он, повернувшись опять к шатру, — перед своими товарищами и твоим мужем, вожак, прощается с тобой, голубка, чтобы запомнили... — И голос его опять задрожал, сорвался. — Подбросьте в огонь пихтовых веток, — крикнул он, будто стараясь этими словами придать твердость своему голосу, — чтобы, разгоревшись, играл он на всю гору своим светом, полаял бы, рассказывал: Мавра с цыганами прощается. Пейте, не жалейте! Жар раздувайте, полымя вздымайте, чтобы далеко оно Мавриной душе уже сегодня светило. Пейте, братья! Пейте, Андронати-музыкант просит. Пейте, не жалейте! Кто знает, где мы очутимся вскоре... и будет ли еще Андронати меж вас! Не будет Мавры с вами... Не станет и горя у Андронати... Всем... как кому суждено. Ей выпадала счастливая доля... пейте!

И ходит Андронати, и просит... наливает, а сам себе будто забывает доливать. Только слезы с глаз ладонью утирает.

Раду лежал на земле, опершись на локоть, и, стиснув зубы, не обмолвился ни словом, точно был тут один-одинешенек.

Он первый медленно осушил поднесенную ему Андронати серебряную чарочку, переходившую из рода в род, как реликвия, и погрузился в думы о Мавре. Он был, казалось, не в своем уме. Что ему теперь до нее? У нее сердце лживое. Когда выходила за него замуж... уверила, что любит, а потом изменила... Да еще с чу-

жаком. И он уже догадывается с кем... Там, в маленьком венгерском городке, недалеко от пусты, куда они время от времени заходили... и где нередко отец ее игрой на скрипке деньги зарабатывал, а она гадала, иногда пела под скрипку, а подчас и плясала... Там был один молодой бояр, который за цыганскую музыку большие деньги швырял... а иногда, вместе с другими, верхом... мимо их шатра вихрем мчался в степь. С ним. Ну да он уж ею не дорожит. Пусть она и красивая, пусть и лучше всех умеет гадать, — хоть еще такая молодая, — пусть она дочь знаменитого Андронати — ему она больше не жена. Бросил золотые свои цыганам — пусть делают с ней, что хотят. Убьют или кинут где-нибудь. Ему все равно. Только бы отомстить, только бы с глаз долой! Живая или мертвая — все равно. Иначе до добра это не доведет! А он свой табор из-за нее не бросит... чтоб ее не видеть. Значит, она должна уйти с глаз долой. Как?.. Все равно. Она ему уже безразлична. Разве что... еще бил бы ее... а впрочем, она ему безразлична...

Безразлична? При этой мысли его хмурый взгляд, воровски, украдкой, словно невзначай, упал на шатер, где находилась виновница, и, точно пронизывая, впился в него.

Безразлична?

Проклятая! Изменила. *Ему* изменила. Первому среди цыганских вожаков изменила.

Вокруг него люди пили и громко разговаривали. О Мавре, да заодно и о нем. То соглашались, то спорили. То и дело вмешивались и женщины. Он вынужден был с ними пить, хоть душу его разъедало что-то горькое, точно тлеющая, подброшенная в огонь рыжая, высохшая пихта дымила и потрескивала...

Так горело в его груди. Но он должен тут быть.

В последний раз должен был это сделать. Для себя, для людей, для Андронати, которого в таборе все очень уважали.

Вдруг все задвигались.

Андронати в последний раз обходит круг и угощает, не жалея вина, почти каждому переливает через край, а потом берется за скрипку.

И вот он стоит посреди них.

— Люди! — восклицает он. — Цимбалы, свирели в руки, а кто со мной, то и скрипку. Мавра! — повернулся он к шатру, где была его дочь. — Мавра! Прощайся с Раду.

Завтра в эту пору ты не будешь нашей, — и провел смычком по струнам. Потом склонил низко голову над скрипкой, будто уловил идущий изнутри ее голос, дающий ему какое-то особое тайное повеление, и — заиграл.

Исходил болью.

Плакали скрипки, звенели цимбалы, трепетали звуки свирелей, а над всем этим властвовала одна-единственная струна скрипки Андронати. О, эта скрипка! Стонала, плакала человеческим голосом, разливались печалью, разрывалась от рыданий и все о Мавре и о Раду рассказывала.

И снова скорбь.

Будто нежная пчелка жаловалась, трепетала. Металась, вливалась в сердце, вызывая грусть и тоску, и расплывалась горем.

Андронати играл дойну.

— Мавра! — вскрикивал он в отчаянии время от времени, сам не свой от страшного горя, и притопывал ногой. — Мавра! — Он играл, раскачиваясь всем телом, как безумный. — Мавра! Твой отец играет... Андронати играет для тебя в последний раз среди своих; завтра, может, ты его уж не услышишь! Мавра!

Раду лежал, уткнувшись лицом в землю, охваченный одним только чувством. Изменила ему. Изменила, и он не прикоснется больше к ней, разве что в гневе. Убьет! Иначе он не может, такая у него натура. Не может. Не может. Голос скрипки, казалось, пронизывал его душу, истерзанную болью и алчущую мести, и, как оса, вновь и вновь вливался в нее, бередил рану. «Белого ребенка родила, от чужака, чужого мужчины». Стоном исходила скрипка, плакали цимбалы: «Чужака какого-то...» И от этих мыслей, от этого чувства муки и ревности он, казалось, сходил с ума. «Белого ребенка... на третьем году замужества... Мав-ра! Будь ты проклята за свою измену, пусть все горе падет на твою голову!»

Полная луна засняла из-за высокой, покрытой лесом горы и не двигалась с места.

— Раду! — словно голос Мавры донесся вдруг к нему, и разбитая скрипка Андронати очутилась возле его головы. — Раду!

Он вздрогнул, а рядом с ним на землю повалился Андронати.

— Мавра, Ма-в-ра! Мы прощаемся с тобой навеки, на... веки, — стонал он и просил после длительного молчания: — Спите, люди, спите. Эту ночь еще проведем вместе, а завтра сами покончите, кто хочет. Кто взял червонцы, пусть тот возьмет и ее душу или ее самое. Не так ли, Раду?

— Так, — послышался сухо-ответ вожака.

— А потом обратно в пусту — широкую, бескрайнюю степь.

— Ух-га, пуста! ух-га! — ухал неистовым голосом музыкант. — А сегодня спите пока. И с вами со всеми старый Андронати, — и сев, подобрал под себя ноги, запустил пальцы в волосы и горько зарыдал. Выхода не было, он должен был разлучиться со своей Маврой. Измена, особенно измена женщины, а тем более жены вожака, неизбежно влекла за собой кару. Он лучше других понимал вину дочери — и вот сейчас ее последняя ночь среди них, цыган. — Спите, люди! — просил, молил он. — Спи, Раду. Смотрите, все вокруг затихло. Коля уж так суждено, пускай сбудется. Месяц всему свидетель: братец-месяц, что нас никогда не покидает. Спите, люди, спи, Мавра, спи, Раду, молодой, осиротелый атаман-рай. Вы мои дети. Молчите все, пусть она среди нас в последний раз хорошо выспится. Спите. Спи, Мавра... спи, Раду. Нас только пуста ждет... Широкая, глухая степь. Тсс... Тсс... спите... Мавра... спит... тсс... спите...

Все стихло...

Спали.

Был первый час этой же ночи, когда молодая красивая жена атамана Раду Мавра со своим белым сыном навеки покидала его шатер и сходила с его пути.

Цыгане и Раду спали как убитые, и только двое кошачьими движениями выползли из кучи спящих. Это был старый Андронати и его верный друг музыкант-цимбалист, который никогда с ним не разлучался. Оба они заранее уговорились не пить столько, сколько другие, а когда все уснут — вынести Мавру из шатра вместе с ребенком и таким образом вырвать ее из рук Раду, спасти от смерти или по меньшей мере — от увечья. Приговоры цыганских старейшин бывали подчас чудовищны, и поэтому они решили, не посвящая никого в свою тайну, еще до истечения четырех дней унести Мавру из табора и спасти ее от

беды или смерти. А вне табора, считали они, Мавра будет спасена. Она умна и хитра и, конечно, устроит свою жизнь, до того, как они снова когда-нибудь встретятся. Ее ребенка Андронати подкинет какому-нибудь бездетному богачу... где-нибудь вон там, в одном из сел за горой Чабаницей, — и все будет хорошо. Лучше так, чем погибать или остаться калекой на всю жизнь. Раду любил иногда мстить своим врагам, нанося им увечья, этого-то и боялся старый музыкант.

И когда, опьянев, все уснули крепким сном, — Андронати заправил его сонным зельем, которое искал два дня в горах, — они с товарищем вынесли Мавру и ребенка из шатра.

Не погибать же, точно зверю, молодой и красивой, единственной его дочери, а жить. Жить среди добрых людей. Мир широк. Бог кормит всех, прокормит и ее. У Раду оставаться ей нельзя: стоит ей только подняться на ноги — он отомстит ей на всю жизнь. В своего славного отца, семиградского цыганского атамана, пошел он своим злым нравом — мстительный и непреклонный, как смерть, даром что красив, как месяц и умен не по годам.

Мавра, тоже опоенная зельем, спала как мертвая, когда ее уносили, и не слышала ничего. Только месяц да звезды видели, что происходило, больше никто.

У Андронати зубы выбивали дробь, его клонило к земле от горя. Но лучше унести ее, в надежде на милость чужих людей, чем видеть убитой или изувеченной навеки. Так все же когда-нибудь он еще увидит ее, рано или поздно отыщет, но видеть ее калекой для него горше смерти.

Шли Чабаницей вдоль шумной реки, которая пенилась и металась в своем ложе, в диком беге там и сям ударяясь о камни-великаны и разлетаясь в брызги.

Шли в противоположную сторону от табора, шли до тех пор, пока не отыскивали удобное место, которое, по их мнению, находилось и достаточно далеко от села и в то же время... не совсем глухое.

Близ мельницы недавно овдовевшей богачки Иванихи Дубихи, но вдали от села уложили они Мавру под высокой раскидистой пихтой и оставили.

Пихта считалась у цыган священным деревом, оберегавшим от смерти, их другом. Сейчас пихта была единственной защитой несчастной до той поры, пока над ней

не сжалится какая-нибудь человеческая душа. Рядом со спящей положили узел со всеми ее вещами и червонцами, которые подобрал с земли цимбалист, товарищ Андронати, и которые подарил теперь дочери своего верного друга.

Затем оба они ушли.

Первым — товарищ, чтобы убраться опять на своем месте, не возбудив ни в ком подозрений, позже — Андронати. Отец вернулся на мгновение к своей дочери.

Она еще спала.

Поплавав горькими слезами, он произнес над нею какие-то колдовские слова, которые должны были охранять ее в дальнейшей жизни от зла, взял на руки ее белого сына и двинулся дальше. Он нежно прижимал к себе ребенка и в то же время произносил заклинания и проклятия, чтобы тот обидчик, который совратил его мать и довел до такого несчастья, вовеки не предстал перед господом богом... а вечно бы мыкался по свету в нищете и заботах... в голоде и в холоде. Чтоб он вовеки не дождался...

Куда он несет сироту? — спрашивал Андронати самого себя. Он еще не знал. Какому отцу-матери? Он их не знает, не видел, немного слышал о них — а идет. В счастливую ли минуту подкинет ребенка? Пока Андронати жив, он всегда будет проклинать обидчика. А его проклятья страшны, их боялись все. Они сбывались.

И старик шел.

Шел под гору узкой тропой, начинавшейся неподалеку от мельницы Иванихи Дубихи: слева была Чабаница, справа — край глубокого оврага-пропасти, по дну которого мчался шумный поток.

«Белая» тропинка, как называли ее жители села, то поднималась вверх, то спускалась опять вдоль горы Чабаницы, а справа от нее тянулся глубокий, темный овраг, отделявший Чабаницу от соседней скалистой горы, обращенной своей лесистой, отвесной, как стена, стороной к Чабанице и к ее белой тропе.

Белая тропа тянулась то через густой лес Чабаницы, то среди красивых лугов и пастбищ, оставаясь везде белой и узкой.

И вот она кончилась.

Словно прижавшись к земле, слилась с дорогой, которая тянулась где-то рядом, и неожиданно пересекала белую тропу, преграждая ей дальнейший путь и поглощая ее, словно река ручеек.

Вместе с сереющим рассветом вошел Андронати в третье по счету село от Чабаницы, недалеко от горы, возвышающейся уже на самой венгерской границе.

Он шел недолго, но весь взмок от пота.

Присел у лесной опушки на горе и осмотрелся. Все предвещало восход солнца, пихты дышали холодным смолистым ароматом. Время близилось к рассвету, но всюду еще царил торжественная предутренняя тишина.

Все еще спало.

Старый отец Мавры, держа белого внука на руках, отыскивал что-то своим острым глазом на нижнем краю села. И не мог отыскать, хоть сердце его трепетало.

Там, в долине, рядом с селом, у подножия Чабаницы, возле быстрой реки, в лесу, где вместе с рекой шумит одинокая мельница, бросил он, как собаку, свою больную дочь, чтобы свои не погубили ее, не искалечили, а здесь он держит на руках ее несчастного сына, чтобы подкинуть его чужому бездетному богачу этой долины, но вот что-то не ладится.

Серый туман как нарочно, не хочет подниматься над селом, чтобы стало видно дорогу, по которой он должен идти, не хочет открыть ему усадьбу зажиточного хозяина. А с каждой минутой становится все светлее, все быстрее наступает день.

Он тяжело вздохнул. Вот до чего дожил! Что приходится делать. Вчера разбил с горя свою скрипку, прощаясь с дочерью песней, оставил жену и ушел. А возвратясь, кто знает, застанет ли ее в живых?

Цыган и только один цыган знает — что в нем кипит, что в нем творится. Вот какова она, цыганская жизнь. Сегодня здесь, завтра там, а послезавтра, может, ты уже и мертв. Ему припомнилась вдруг древняя, почти тысячелетняя легенда, объясняющая вечные цыганские скитания и злоключения. Еще в Египте они не приютили у себя Марию с Иосифом и божьим младенцем — и в наказание мыкаются, странствуют с незапамятных времен по свету. И кончится ли когда-нибудь эта кара господня? Отбудут ли они ее? — спрашивает он сам себя.

Усмехнулся горько, будто во сне.

Похоже на то, что, пока будет существовать цыганское племя, — ей не будет конца...

А то, как он нынче поступил с дочерью и с невинным белым младенцем, не кара ли это, не возмездие ли? Господи боже, смилосердствуй над грешным народом твоим, —

он кается. В нищете и смирении, в голоде и в холоде кается он тяжко.

Прошептав эти слова, ждет.

Туман висит над селом, не поднимается. Он словно преграждает ребенку путь. Не знак ли это того, что его ждет в будущем такая же туманная судьба?

Солнце уже вот-вот взойдет, вот-вот вспыхнет, а туман не поддается.

Вдруг... что это?

С противоположной горы, отделенной от него лишь небольшой долиной, доносится голос трембиты.

Так рано?

Да. Это действительно голос пастушеской трембиты, вещающей о чем-то грустно и протяжно. Андронати кажется, что острая тоска, заключенная в этом голосе, всей тяжестью наваливается на него. Вокруг тихо — ни одно дерево не колыхнет ветвями, и только голос трембиты разливается по вершинам. Оттуда пришел и он.

Андронати не выдержал и заплакал. Недоброе вешали эти звуки трембиты поутру. Андронати взглянул на солнце. А оно уже выглядывало из-за горы, зардевшейся кровью, яркое, ослепительное. Туман в долине редел. Тогда он встал и спустился в долину. Сначала в долину, а затем опять поднялся на гору. Там, на горе, не очень высоко, расположилась обширная усадьба, один вид которой уже говорил о богатстве. И здесь все вокруг, как и внизу, в лесу, спало. Тогда он подкрался неслышными шагами к завалке и бережно положил на нее своего белого спящего внука.

И оглянулся.

В добрый ли час положил он мальчика? Неведомо.

Господи боже, дай, чтобы в добрый...

И потом... не возвестит ли что-либо о судьбе ребенка?

Ничто вокруг не ответило на его мысли. Везде тихо. Ни шелеста, ни движения, ни шума. Как уже сказано, все еще окутано сном. Утренние туманы поднимались устало вверх и все застилали перед его глазами.

На обратном пути он повстречал на тропинке какого-то чабана и остановил его.

— Почему где-то еще до восхода солнца играла трембита? И не просто играла, а рыдала?..

— Верно, богач какой-то помер. У бедного нет овец и по-

лонии¹, по нем и трембита не станет плакать, — коротко ответил пастух и легким шагом стал спускаться с горы.

— Эй-эй! — задержал его еще на минутку Андронати, отойдя уже на несколько шагов.

Пастух неохотно остановился:

— Чего вам?

— Чье это хозяйство... вон там, на горе, со стогами сена у хаты? — спросил Андронати, указывая на усадьбу, где оставил внука.

— Это... первого богача в нашем селе. Разве не знаете?

— Нет. Я чужой.

— Михайла Дончука... — добавил пастух.

— А дети у него есть?

— Ни одного. Зато сотни овец и табуны лошадей. Там... — И, не закончив второпях начатой фразы, пастух лишь сделал жест, означавший, что «у богача достаток немалый», и скрылся среди деревьев.

Пошел и Андронати, не оглядываясь больше, смахнув наворачнувшуюся на глаза скупую слезу.

Он шел, вдыхая густой запах смолы, морем разливавшейся в чистом утреннем воздухе. Пихты, словно разомлев, разморенные сном, казалось, утратили всякую способность шевелиться.

Высоко в небе кружили в плавном полете, один там, другой здесь, два одиноких хищника, высматривая с высоты дневную добычу.

Очутившись на гребне горы, с которой видна была венгерская граница, Андронати только теперь вспомнил о покинутом им таборе.

Что там происходило?

Наверняка ничего хорошего.

Он представлял себе ярость Раду.

Без драки, а возможно, и убийства, верно, не обошлось. А может, за всех расплачивается его жена?

Но нет. Ее все боялся. Она страшна могучей силой своих чар. Да еще и тем, что из всех женщин в таборе она самая старая, и ее ограждает от любых покушений почет, которым пользуется в каждом цыганском таборе старшая по возрасту женщина. Раду, верно, тоже, как он ни мстителен и ни скор на расправу, не посмеет причинить ей зла. А вот товарищ его, может, и заплатится, если он, пробираясь в таборе среди спящих, разбудил

Раду. Ему, единственному, Раду не доверял, полагая, что цимбалист почитал вожаком не Раду, а его, бедного музыканта Андронати. Но, будь что будет, ладно уж и то, что Мавру удалось вырвать из его рук. Какая бы судьба ни ждала ее в будущем, среди чужих, а особенно на первых порах, — все же она по крайней мере останется жива и не-вредима. А ребенок, даже будь его отец и не цыган, тоже не будет убит, как звереныш. Его найдут добрые люди, сжалятся, — и ни мать, ни сын не погибнут среди них. А со временем, если он, Андронати, не умрет... он отыщет их, и они присоединятся к другому табору. К тому времени и гнев Раду остынет.

Бедная Мавра! Каково будет твоё пробуждение в лесу под пихтой?

«Мавра!» — кричала от боли душа, рыдало отцовское сердце, и слезы опять хлынули из его глаз. Он шел, почти ничего не видя. Никогда в жизни не испытывал он еще такого тяжкого горя, как в эти дни. Лучше бы ей умереть в детстве, чем остаться одинокой, как теперь, в расцвете лет исчахнуть.

— За что? — дико крикнул он, всплеснув в отчаянии руками.

Когда грех поймал ее в свои сети?

Она ведь не смела и прикоснуться к постороннему мужчине, а — согрешила... Господи боже!.. Ах, вот оно что! ему уже ясно, когда это случилось; тогда, когда она стала ходить гадать господам и под его скрипку петь грустные песни, а Раду, жадному к деньгам, приносить от бояр за гаданье и песни золото. Тогда-то и отыскался хищник, как волк набросившийся на ее красу и молодость — вот ведь до чего дошло! А он, горемычный? Куда ему деваться? Пойти разве в пустыню и там пристать к какому-нибудь табору, вызвав к себе и жену? Да. Иначе нельзя. А потом... через несколько лет, может, прикочует снова в эти края и поглядит, как живет внуку у богача. Через несколько лет... а до той поры да не оставит его господь своим попечением. Его и Мавру.

Не раз и не два окидывал еще музыкант быстрым взором вершины лесистых гор, которые, словно раз-деваясь, медленно снимали с себя утренние туманы, под-ставляя один за другим свои хребты восходящему солнцу, полыхавшему на востоке ослепительным сиянием.

¹ Подонина — горное пастбище (укр.).

Мавра, проснувшись утром и увидав над собой вместо задымленного висающего ключьями шатра зеленые ветви пихты, поняла, что она в лесу. В первую минуту она не знала, что и думать, обнаружив, что она одна, без своих, без Раду, без матери и отца, которые до этого никогда не покидали ее.

Она стала звать их.

Но ее слабый голос рождал лишь едва слышное эхо, в лесу не откликался никто.

Она пролежала еще некоторое время, поджидая мать и прислушиваясь: не идет ли?

Никого не было.

Вокруг тишина, и только широкий крылатый шум леса раскачивался на волнах напоенного смолистыми ароматами воздуха да изредка слышался шелест белки, молнией мелькавшей среди пихт. Здесь и там проглядывало золотым сиянием сквозь ветви солнышко и где-то, тоже неподалеку, шумела река, а вместе с этим шумом доносился и гул мельницы.

Значит, она лежит где-то неподалеку от какой-то мельницы.

Однако почему она здесь одна? Куда девалась ее мать? Куда исчезли шатры? Почему вокруг не слышно гомона цыган, не слышно голоса отца, брани и приказаний Раду, звона чинимых медных котлов, ничего решительно? Почему все это так? Лишь тишина, тишина и одиночество.

Что произошло?

Неужели ее бросили? О господи боже!

Как это могло случиться? Брошена даже матерью? — Мама, мама! — стала она звать в лихорадочном испуге, и волосы поднимались у нее на голове. Неужто она и впрямь брошена? — Мама!!! — крикнула она в диком ужасе и заплакала. Громко, словно малое дитя, всхлипывая, она звала попеременно то мать, то отца. И, не дождавшись ни отца, ни матери, вдруг изменилась в лице, словно все открылось ее внутреннему взору. — Это дело Раду, — зарыдала она в неопишемом горе. — Он выбросил ее из своего шатра и уехал. Забрал всех, отца и мать, забрал своих людей и ночью, по своему обыкновению, как ветер, умчался. Это дело Раду. Он грозил отомстить ей за измену, за белого ребенка — и сделал так, как говорил. —

О-о-о! — громко рыдала несчастная, запустив в отчаянии пальцы в волосы и захлебываясь от слез.

Вдруг стихла.

Молнией пронеслась в ее мозгу мысль о ребенке, и она умолкла.

С трудом приподнявшись, начала шарить вокруг. Ребенка не было. Лежал узел с ее вещами, со всеми, до последних мелочей, а ребенка не было. Полумертвая от ужаса, снова упала. Теперь ясно все. Случилось именно то, что ей сразу пришло в голову. Раду бросил ее и, забрав всех, вместе со стариками и ребенком, тайно ушел ночью.

Она принялась кричать, звать. Всех цыган, кого только помнила. Звать по имени. И отца, и мать, и даже самого Раду. Но тщетно. Никто не являлся.

Вокруг было все то же. Шум сосен, тишина, одиночество — и больше ничего. Никого и ничего.

На лбу выступили крупные капли пота. А страшная догадка по-прежнему сверлила мозг. Отец, мать, Раду — все бросили ее за измену, за ее белого ребенка. Бросили. Как эти лохмотья, покрывавшие ее, выбросили и ушли. Зарыдала страшно, с громкими воплями. Теперь она окончательно все поняла и предалась отчаянию. Но тут же опомнилась. А ребенок?.. Господи боже, милосердный, всеблагий, где ребенок? Забрали? Украли? Убили? Что с ее ребенком сделали? С ее дорогим дитяtkом?

Снова взрыв плача.

Все ее существо рыдало.

Что теперь будет? Где ее ребенок? И в сотый раз перебирает она свое тряпье, оглядывается, ищет ребенка — а его нет. Не может его нигде найти. Не помогут ей уже слезы, не помогут рыдания, ничто уже не поможет. Нужно искать.

— О, это ты, Раду, все сделал! — кричит она, подняв в отчаянии свои тонкие руки. — Это ты! Грозился убить, как собаку, — и убил. Надо было заодно с ребенком и Мавру убить. А то... — здесь она внезапно смолкает и снова впадает в отчаяние. Рвет на себе волосы, бьет себя в грудь, раздирает одежду... перестанет на миг, прислушается, и снова отчаяние, вновь то же самое, но — все напрасно. Ребенка нет.

Вокруг нее лишь разбросанные, изодранные лохмотья, густой лес и шум деревьев.

Ослабев от рыданий и отчаяния, она упала и замолкла.

Горячие слезы струятся из-под закрытых век по ее бледному худому лицу...

Вот и конец. Как поклялся отомстить, — так и сделал. Ребенка убили, ее бросили, она обречена на смерть. У нее нет сил, чтобы подняться и идти за ними; остается лежать здесь и умирать, тщетно ожидая, не пройдет ли кто-нибудь лесом. Может, даже кто-нибудь из своих. Может, их силой заставили уйти, прогнали из села... и ее лишь временно оставили тут, а позже придут и заберут с собой.

Может... Но — ребенок? Ребенок принадлежит ей.

Она лежит и прислушивается...

Кругом тихо-тихо, только лес шелестит.

Где-то поблизости, кажется, постукивает мельничное колесо... шумит река... но господь его знает, где это. Господь знает, где люди.

Она опять плачет, опять зовет на помощь. Пытается встать, но чувствует, что едва держится на ногах. Она ведь еще больна. Господи боже, что ей делать?

Она медленно оседает на землю, припадает к ней лицом и захлебывается от отчаяния в безумном плаче. Ничего не чувствует, ничего не сознает, кроме своего горя, кроме боли. От внутреннего огня начинает гореть все тело.

Но что ей до этого, раз у нее нет ребенка. *Ребенка!* Убили!

В глазах у нее темнеет, в ушах звенит, затем наступает страшная слабость... жар... глухота... провал...

Вдруг кто-то ее тормошит, поднимает.

— Ты проснулась уже? Не спи!

Мавра с трудом открывает глаза, вглядывается, приходит в себя. Над ней склонилась высокая пожилая женщина, с виду пани, а рядом — люди: женщины и мужчины.

Эта женщина или барыня, с черным платком на голове, бледная и худая, глядит на нее с участием и говорит:

— Вставай и пойдем со мной. Побудешь у меня. Ты больна. Лежала здесь больше суток. Мои люди доведут тебя потихоньку до моего дома.

Мавра все еще ничего толком не понимает, но повинует-ся и пытается встать.

Все, особенно женщины, с любопытством приглядывались к несчастной, которая лежала на земле, словно

большая подстреленная птица, с прекрасными, невыразимо-грустными, черными, как ночь, глазами; вокруг нее были разбросаны лохмотья, одежда, валялись золотые червонцы. Молодая и красивая, но бледная, с длинными всклокоченными черными волосами, рассыпавшимися по плечам и груди, она казалась сейчас почти страшной.

— Где мои люди, цыгане? — спрашивает она слабым голосом, с чуждым для них произношением.

— Должно быть, бросили тебя, — участливо говорит высокая худая женщина в черной одежде. — Должно быть, бросили тебя.

Мавра широко открывает глаза, ее губы кривятся от сдерживаемых рыданий.

— Когда? — спрашивает она.

— Недавно, видно. Среди них, говорят, произошла драка из-за какой-то кражи, ранили одного, цимбалиста, а потом уселись в свои фургоны и уехали ночью так, что никто и не видел. На тебя еще вчера вечером натолкнулись люди, которые пришли сегодня утром ко мне на мельницу, да я и не могла забрать тебя раньше. Ты все время спала. Страшным сном спала ты, будто мертвая. Что с тобой случилось?

— Не знаю, — отвечает Мавра, с удивлением бросая блуждающие взгляды на чужих ей людей, а потом, вспомнив о ребенке, опять заливается горькими слезами. Плачет, протягивает умоляюще к ним руки и что-то говорит на чужом, не понятном языке.

Но ее тут же прерывает *Иваниха Дубиха*, — это была она, — и с помощью людей поднимает ее.

— Куда уехали мои люди? — спрашивает больная. Этого никто не знал. Кажется, в Венгрию.

А куда делся ее ребенок?

Тоже не знали. *А у нее был ребенок?*

Да. Сын. *Белый*. Первый ее ребенок. Она жена Раду, самого цыганского вожака. Не забрали ли цыгане с собой и ее ребенка?

И этого они не знали. Не имели понятия. И не видели ничего. После драки те сразу же ночью исчезли...

Так, может, ее ребенка убили?

Нет. Они не знают.

О, верно, убили!

Нет. Не слышали об этом. Только одного человека, слышали, вожака в драке чуть не убил.

— О Раду! — простонала Мавра, ломая руки, и снова расплакалась. — Он, верно, и ребенка убил.

Нет. Этого они не знали. Не знали и не допускали мысли, что можно убить невинного ребенка.

— О Раду! — только охнула Мавра и громко всхлинула. — Он страх какой злой, когда разгневается. — Потом добавила: — Стало быть, украли у меня ребенка и скрылись?

Возможно. Этого они тоже не знали.

О, наверно, раз они исчезли, будто сквозь землю провалились. Наверно, украли. Они всегда так делали... и по одному этому она узнает Раду.

— Может быть, — ответили люди.

Не видел ли кто-нибудь этого ребенка?

Не видел.

Белый был.

Может быть. Не знали.

— Белый, белый! Был, — почти вскрикнула она.

Не знали.

Она расплакалась еще сильнее, а люди беспомощно молчали. Молчали с таким видом, будто не хотели выдать какую-то тайну, а может, не хотели говорить, чтобы еще больше не ранить сердце несчастной, а возможно, просто ничего не знали.

Останавливаясь на каждом шагу, довели молодую осиротевшую цыганку до дома Иванихи Дубихи, и там она осталась.

* * *

Мавра открылась только Иванихе Дубихе, почему Раду хотел ее убить, но потом, видимо, решил иначе отомстить, и Иваниха оставила цыганку у себя.

Спустя два месяца после смерти мужа Иваниха Дубиха, хоть она была уже не молода, родила ребенка, маленькую Тетянку, и теперь за ней присматривает Мавра. У самой Иванихи, после того как она овдовела, уйма хлопот и по хозяйству и на мельнице, а за ее единственным ребенком, над которым она дрожит и который только и составляет теперь ее одинокое счастье, надо же присматривать кому-нибудь! Мавра истощена и к тяжелой работе

не пригодна, разыскивать свой табор она теперь не в состоянии, так пусть, сказала Иваниха цыганке, живет у нее, сколько захочет, а здесь, куда приходит много разного люда, она, может, и о своем ребенке что-нибудь услышит, разузнает. А может статься, что и цыгане вернутся за нею, — тогда здесь, на мельнице, она скорее услышит об этом.

Мавра послушалась. Осталась.

Однако недолго усидела она на месте в тихой вдовьей хате у подножия Чабаниды. Сидела, пока не набралась сил, а окрепнув, бросилась по окрестностям искать своего дитя и разузнавать о своих. Ходила, бродила целыми неделями, месяцами, словно голодная волчица, и в конце концов вернулась. Худая, бледная, ни кровинки в молодых губах, глаза унылые, грустные, — и снова поселилась у Иванихи Дубихи.

Цыгане, по своему обыкновению, будто сквозь землю провалились, и ни от ребенка, ни от них не осталось и следа. Никто ничего не знал. Не знал и не слышал.

И не плакала Мавра больше. Знала — ничто не поможет.

Выплакала все слезы. Только прекрасных глаз своих, излучавших печаль, уже больше никогда не поднимала смело на людей. Стыдно было. Муж, родные, все свои выбросили ее вон, как собаку, чужим людям на посмеище, а ей самой на горе.

Что могло быть хуже?

И вот она осталась, по-видимому, навсегда у богачки Иванихи Дубихи — присматривать за ее дочерью. А однажды разбуженное чувство материнства, требующее утешения, сделало ее почти второй матерью для маленькой Тетянки, и со временем Тетянка стала как бы ее собственным ребенком; Мавра успокоилась, начала забывать свое родное дитя.

Так жила она, нянча и пестуя чужого ребенка, до той минуты, пока не пробуждались в ней тоска и привычка, свойственные ее странному племени, — менять время от времени место пребывания и пока ее с необычайной силой не тянуло брести куда глаза глядят, дальше по свету.

Тогда прощалась она, заливаясь горькими слезами, с девочкой, а Иванихе, сложив покорно на груди руки, кланялась низко до земли, целовала ей колени и руки и уходила. Иваниха Дубиха, привыкшая к ней и любившая за искреннюю любовь к ребенку, сердилась на нее...

хоть в согласии со своим сдержанным характером выражала свой гнев не словами, а взором и молчанием, и не отпускала ее. Как уже сказано, она любила осиротевшую цыганку, а кроме того, была благодарна ей за истинно материнскую заботу о Тетянке.

— Куда тебе идти одной в далекую незнакомую сторону? — укоряла она. — Ты спятила. Не гневишь ли ты бога, что так легко оставляешь хлеб-соль привязавшихся к тебе людей и ребенка? Зачем и почему ты пойдешь... и куда? Не карает ли это господь тебя еще раз?

— Нет, — отвечала угрюмо цыганка. Она должна идти. Земля горит у нее под ногами. Ее покой улетел от нее, точно в неведомую даль, и теперь все манит ее к себе. Она должна переменить место, — оправдывалась Мавра. Может, встретит отца с матерью, разузнает что-нибудь о них, может, кого из своих случайно увидит, встретит. Может, счастливый случай сведет ее через столько лет с ребенком, с отцом-матерью, а может, встретится и с самим Раду... Она знает, куда и когда цыгане уходят из Венгрии или из Молдавии и когда возвращаются. Понимает их знаки, которые они оставляют для других цыган на деревьях, придорожных камнях и тому подобном. Она должна идти, что-то не дает покоя. Если не пойдет — захворает от тоски, печали... Чувствует, что больна от этого, она должна идти... Чего ей сидеть?

Уйдет.

— К Раду хочешь, чтобы поколотил как следует? — сухо спрашивает Иваниха Дубиха и пронизывает молчащую цыганку взглядом.

— И пусть, не боюсь. А не разыщу, не встречу никого — вернусь. Кроме вас, пани (так величала она Иваниху Дубиху, ходившую всегда в черном), нет у меня никого на свете.

— А ребенка как оставляешь? — спрашивает Иваниха, указывая на маленькую Тетянку, которая степенно похаживает между двумя женщинами, словно понимает, что ее пестунья уходит едва ли не навсегда от нее.

— Ой! — застонала Мавра и разрыдалась. — Ой, не растравляйте еще больше бедное Маврино сердце.

Однако, вскоре успокоившись, ушла.

Люди, видя, как она удалялась с торбами, переполненными какими-то травами и лохмотьями, смеялись ей вслед.

— А вон, — издевались они, — Мавра опять пускается

в путь. Идет искать себе цыгана-мужа. Маловато нам ее одной в селе! У вдовицы ее разобрала скука.

Она огрызалась, сыпала в ответ злыми проклятиями, ее прекрасные грустные черные глаза, полные презрения, металы искры, и уходила.

Возвращалась неожиданно через несколько месяцев, а иногда и через год, из своих странствий к подножию Чабаниды, утомленная и разочарованная, безудержно рыдала от счастья, увидав выросшую за время ее отсутствия Тетянку, которая радовалась ей больше, чем родной матери. Снова падала в ноги Иванихе Дубихе и, целуя ей колени, умоляла:

— Примите меня опять к Тетянке, добрая хозяйка. Мне бы вас было слушаться, а не своего цыганского разума. Натерпелась только горя среди чужих, наслушалась брани, попреков, насмешек и воротилась, никого не повстречав. Ни об отце-матери, ни о сыне не слыхала, ни про своих не доведалься, ни про самого Раду — только и того, что среди чужих чудотворным зельем торговала... да там и сям ворожила... и вот гостинца вам и душевье своей принесла. — И с этими словами она ставила на стол перед важной Иванихой Дубихой и ее маленькой дочкой какие-нибудь простые лакомства, которые сама страстно любила.

Спустя несколько лет после последнего такого странствия, когда Тетянке пошел двенадцатый год, стала Мавра просить Иваниху Дубиху разрешить ей уйти от нее совсем и поселиться где-нибудь в другом месте.

Иваниха Дубиха удивилась.

— Вы так добры ко мне, матушка-хозяйка, — объясняла Мавра. — Вы и ваша голубка дорогая, да вот деревенские люди... уж больно допекают, насмеваются здесь, на вашей мельнице... — И при этих словах расплакалась.

— Как это насмеваются? — спросила Иваниха, хорошо знавшая, что над несчастной крестьяне порой подшучивают, особенно приезжавшие на мельницу из далеких сел.

— Будто сами не знаете? — раздраженно возражала Мавра, закуривая свою трубку и шумно выпуская дым, — она иногда осмеливалась прекословить даже самой Иванихе Дубихе. — Кто ни зайдет, — продолжала она, — к вам в усадьбу, смеется надо мной. «А долго ты еще будешь, — говорят, — муку на мельнице молоть? Долго еще будешь черными глазами колеса вертеть?» — Побей их сила

божья! — проклинала она обидчиков. — Или еще, — что горше всего, так как это уж про вас и мою доченьку: «Обсыпашь ты щедро, — спрашивают, — хату Дубихи цыганским зельем, чтобы богачи уже теперь засылали сватов к ее дочке? Она, вишь, не сглазить бы, подрастает». А другой: «Да где там, — говорит, — обсыпает. Кабы умела, так сама себе наворожила б, чтоб какой черный из табора припожаловал, хоть на старой метле, и посватал бы, а то, гляди, уже поседела — даром что глазницами светит, как черный кот из-под печи». Вот такое-то, матушка-хозяйка, слышу я сотни раз от людей — и что ни год, то чаще. Нет больше моих сил... Да и для вас зазорно, коли такое плетут про ту, которая у вас в доме живет, вашу Тетянку выныячила и сейчас за ней смотрит. Лучше я уйду от вас, они и перестанут.

Иваниха рассердилась. Она не очень-то верила цыганке, зная, что та находчива и на язык остра, и каждого, кто осмеливается ее задеть обидным словом, жалила в ответ злее, чем оса.

— Я не верю тебе, Мавра, — ответила Иваниха, надеясь таким путем выведать истинную причину ухода няньки от ее ребенка. — Не верю я, Мавра. Ты по какой-то другой причине хочешь нас оставить. Меня и мою дочь. Лучше скажи правду и не крути. Ты, должно быть, уговорила с какими-нибудь цыганами, когда уходила от нас, и хочешь вернуться в Венгрию. Разве не так?

Мавра отрицала. Не к своим ей хотелось. Если до сих пор не разыскала она ни отца-матери, ни своего сына, ни даже мужа-ворога и других, то теперь подавно не найдет их, да ей уж и все равно. Ей хочется не к своим, которые ее, молодую, бросили, как собаку, обрекли на несчастную долю, — а хочется ей покоя, хочет она пожить по обычаю своего племени. Вот что.

— Как же это? — удивилась опять Иваниха Дубиха, никогда ни слышавшая ничего подобного от Мавры.

— Да вот так, — был ответ. Здесь она единственная цыганка во всем селе, на всю гору Чабаницу да, кажется, и за Чабаницей на всю округу. Тетянке она больше не нужна, через два-три года Тетянка станет взрослой, заневестится — вот поэтому-то Мавре и нужно заняться иным делом, как пристало настоящей цыганке.

— А какое же это дело? — снова спросила Иваниха Дубиха. — Разве она не делала здесь все, что ей заблагорассудится. Кто и когда заставлял ее делать что-либо про-

тив желания? Ложилась и грелась на солнышке, если ей что было не по душе; или ребенку сказками голову забивала. А зимой лезла на печь, уверяя всех, что больна, — кто же и когда принудил ее к чему-либо?

— Это правда, — отвечала Мавра, словно испытывая какую-то боль. Здесь ее ни к чему не принуждали. Потому-то она и возвращалась постоянно назад, словно к своим родным, даром что здесь не цыгане. Но отныне она хочет жить в одиночестве. Совсем одна. Вон там, на Чабанице. Там стоит пустая колыба¹, над самой кручей-пропастью, а в ней еще при жизни хозяина летом, а то и зимой жили чабаны. Теперь полонина, к которой относилась эта колыба, была уже продана, а колыба, никем не занятая, по-прежнему принадлежит Иванихе Дубихе. Вот эту-то колыбу она и просит у хозяйки и хочет там навсегда поселиться. И если хозяйка исполнит ее просьбу и не рассердится, то она откроет ей всю правду: она хочет там заниматься ворожбой. На Чабанице вдоволь всякого волшебного зелья — и во вред и на пользу, кому что требуется: она уже и тут не однажды и не одного, тайком от хозяйки, на ноги поставила, и правильно сделала. Там она будет зелье собирать, сушить и раздавать даром кому что нужно или продавать, и этим жить будет. Она знает толк во многих снадобьях и умеет ворожить так, как мало кто из цыган, — потому как и цыгане тоже далеко не все знают толк в травах, ворожбе и заклинаниях. Но ее учили этому сизмальства. Отец и мать. И этим она у панов деньги зарабатывала... и приносила Раду... чтоб его на куски по всему свету разнесло...

Поселившись на Чабанице в колыбе над обрывом, она будет навещать матушку-хозяйку и Тетянку. Она их не забудет! Где уж забыть! И, сказав это, заплакала. Ее тянет теперь к одиночеству, как прежде — к бродяжничеству. Она всеми лекарствами и заклинаниями, какие знает, будет там людей исцелять. Туда к ней будут заходить, а сюда — стыдятся. Пусть когда-нибудь люди узнают, кто такая была Мавра. Мавра — дочь славного музыканта Андронати и жена самого Лукача Раду. Здесь, в долине, у Иванихи Дубихи, куда на мельницу приходит всякий люд, ей нет покоя. Да и насмехались они над ней, конечно же, насмехались! Но там, на Чабанице, в лесу, в глуши над обрывом, мужик держится перед ворожеей иначе.

¹ Колыба — жилище чабанов и лесорубов (укр.).

Там она барыня. В ее власти сила заклинаний, там она его на ноги поставит, если захочет. И, произнося это, Мавра рассмеялась каким-то странным, горьким, насмешливым, полным скрытого презрения смехом — будто перед ней уже стоял крестьянин...

Иваниха Дубиха молчала. Она о чем-то размышляла, колебалась.

Раздумывая над словами цыганки, она убеждалась в правоте Мавры. Невозможно было удержать навсегда в своем доме «бродягу», как называли ее люди, тем более что она занимается ворожбой, чародейством и всяким другим богопротивным делом, против которого батюшка не однажды говорил в церкви. К тому же Тетянка подрастает, станут почтенные люди заглядывать в дом... а у нее живет цыганка-ворожейка. И с другой стороны... Если не позволит она Мавре жить в колыбе на Чабанице, та может увести девочку куда угодно. Куда глаза глядят, даже к своим цыганам. И тогда...

Эта мысль не на шутку встревожила почтенную Иваниху, и она разрешила цыганке поселиться в колыбе на Чабанице... и заниматься там своими делами.

Трудно было сказать, кто больше любил маленькую Тетянку: она ли, родная мать, или цыганка-изгнанница, лишенная своего ребенка, родных и мужа, — словом, всего, к чему она была привязана, — и отдавшая теперь все сердце, всю пылкую душу ребенку своей покровительницы и кормилицы.

Никому на свете, кроме одной только Мавры, не доверила бы Иваниха Дубиха свою Тетянку. Кто видел безграничную неугасимую любовь цыганки к этому ребенку, которого, нянча с детства, она считала почти родным, тот тоже мог бы допустить мысль, подобно Иванихе Дубихе, что Мавра способна забрать девочку и уйти с ней куда глаза глядят. Поэтому в глубине души Иваниха боялась окончательно отказать в просьбе цыганке, которой удавалось довольно часто под тем или иным предлогом осуществлять свои желания. Тетянка жить не может без своей смуглолицей няни. В младенчестве она убаюкивала ее своими грустными, монотонными, какими-то неведомыми в наших краях колыбельными песнями. Когда девочка стала постарше, цыганка забивала голову ей разными сказками, каких тоже в селе никто не знал и не слышал. И дошло до того, что девочка слепо повиновалась своей смуглой приятельнице, что бы та ни велела, ни

требовала, куда бы ни послала или позвала ее. Девочка всему подчинялась, исполняла все, что исходило от нее, — часто даже наперекор желанию самой Иванихи Дубихи.

Теперь, правда, Тетянке шел двенадцатый год, но цыганка имеет на нее влияние едва ли не большее, чем мать. Поэтому пусть-ка Мавра уходит с богом, если ей хочется, и живет там в лесу над обрывом, как ей угодно, а ребенок мало-помалу от нее отвыкнет и всей душой привяжется к своей родной матери, как и должно быть, чего она в глубине души уже давно ждет.

К тому же Тетянка станет, быть может, послушной без Мавры, а то, избалованная вконец, она не всегда исполняет желания или приказания своей почтенной матери. Если Тетяне чего-нибудь захочется, а Иваниха не разрешит, она мчится с жалобами к Мавре и рыдает, заливаясь горькими слезами. Мавра прежде утрит ей беленькое заплаканное личико и, если не сейчас, то позже, тайком, удовлетворит каприз ребенка. И так во всем и всегда. Пока что у Тетяны больших капризов не было, но не следовало потакать и тем, которые были...

Мавра — и наперсница и советчица ребенка, и, если бы не Иваниха, с ее рассудительным, трезвым умом, Мавра переделала бы ребенка целиком на свой лад.

Но Иваниха любила свое единственное дитя и, как ни была обременена работой по хозяйству, находила время следить за Тетяной и Маврой и проницательно наблюдала за отношениями между няней и ребенком.

Приведет ли это к добру в будущем, если девушка привыкает всегда считаться только со своими желаниями? Ясно, что нет.

Так размышляла Иваниха Дубиха и, наконец, сказала:

— Не в моей власти, Мавра, удерживать тебя, если мысли твои вон где витают. Ступай с богом на Чабаницу, в колыбу, и живи там, как душе твоей угодно. Будешь ко мне оттуда за харчами ходить, сможешь кое в чем по хозяйству и возвратишься. Но знай, — добавила она строго и внушительно, — дочку я к тебе на гору не пушу. Она у меня одна. Она для меня все. Захочешь повидать ее, спустишься с горы. А к тебе не пушу.

— Бойтесь, что я ее украду у вас? — спросила Мавра с горечью, и глаза ее сверкнули обидой. — Не бойтесь, и для меня она тоже все на этом свете. Я ее у вас не украду.

— Ты ее любишь, Мавра, но и я ее тоже люблю. Ребенок не знает, что делать, то к тебе, то ко мне рвется.

Ты ее слишком разбаловала. Что я запрещаю, то ты разрешаешь. Это нехорошо; из-за этого, сама знаешь, мы не раз ссорились до слез. Она хоть еще и ребенок, но уже ничьей другой воли, кроме своей, не признает. Этому нужно положить конец. У меня на глазах еще было так-сяк, а если она застрянет у тебя на горе, что я буду для нее? Разве что будет называться моей дочкой.

Мавра ответила не сразу, она только молча вытерла ладонью глаза и сплюнула.

— Вы хотите, чтобы у нее сейчас уже был такой же разум, как ваш, — произнесла она, — чтобы она была такой набожной и строгой, упаси бог! А кто она еще? Мотылек, птишка — и только. Пусть играет, пусть радуется. Пускай смеется, поет, пусть будет счастливой... пока может, и пусть в материнской любви и в сиянии солнца купается.

— Я знаю, что она еще ребенок, — ответила Иваниха Дубиха с прежним достоинством. — Но ей пора уже взрослеть. До этого времени она была твоей, Мавра, — добавила хозяйка. — Ты пичкала ее сказками, песнями, забавляла ее, забивала ей голову всякой всячиной, словно она боярская дочь. А теперь пусть берется за работу. Она лучше знает твои песни и сказки, чем молитвы, которым я ее учу каждое утро и каждый вечер.

Черные прекрасные глаза Мавры вспыхнули гордостью, и она улыбнулась.

— Я ведь и рассказывала ей самые лучшие сказки, какие только знала, учила самым красивым песням. А что она для меня ровно боярская дочь — это правда. Или, может, не правда, матушка-хозяйка? — спросила цыганка. — А вот, — продолжала она все с такой же гордостью, словно о своем говорила, — чьи пастбища на Чабанице лучше, чем у Иванихи Дубихи? У кого скот упитанней, сытее чем у Иванихи Дубихи? А сама прекрасная чернобровая Тетянка, наряженная так богато, — не дочь ли она Иванихи Дубихи?

— Замолчи, Мавра, замолчи! — перебила ее Иваниха Дубиха, строго сдвинув брови; она не любила, когда лгательно говорили о ней или о ее богатстве; она была скромна и набожна и смирялась, как, наверное, ни один из самых бедных крестьян в селе, перед господом богом, не забывая ни его, ни его святую церковь.

— Молчи, молчи, — повторяла она, — и помни: спускайся, говорю, если сможешь, хоть каждый день, поешь, сделай что нужно, поиграй с Тетянкой и возвращайся к себе.

А по воскресеньям, по праздникам — смогу, буду заглядывать, если не часто, то хоть изредка, с девчуркой к тебе.

— А когда Тетяна вырастет и заневестится, тогда пусть приходит сама, если захочет, — не удержалась Мавра.

— Если, бог даст, доживем, пусть идет. А теперь не пушу. Знай, Мавра, — прибавила она почти умоляюще, — ни полонины на Чабанице, ни водяная мельница, ни мой достаток, а она, одна она — мое счастье. Я должна ее беречь...

— По пути ко мне ей ничто не угрожает, — ответила Мавра на этот раз смелее. — Белую тропинку от мельницы на гору она ко мне перелетит, словно птишка, потом спорхнет в долину и будет опять у вас.

Иваниха Дубиха улыбнулась.

— Уж как-нибудь уладится, Мавра, — сказала она ласково, — как-нибудь уладится.

Мавра осталась довольна — и на том покончили...

* * *

Чабаница — одна из тех высоких гор, где между вековыми лесами простираются самые тучные полонины, принадлежавшие нескольким богачам, в том числе и богачке Иванихе Дубихе.

С той стороны, где вдоль Чабаницы тянулась белая тропинка и зеленели полонины богачки, как раз у самой своей вершины, Чабаница выкинула из своих недр белую скалу, которую люди попросту прозвали Белым камнем. Стоя под этим Белым камнем, можно было видеть все соседние вершины и леса, а между ними, чуть ли не на самой венгерской границе, село под названием Третивка — одно из трех раскинувшихся здесь сел.

С восточной стороны Чабаницы, в полчасе ходьбы от усадьбы и мельницы Иванихи Дубихи, белая тропинка вбегала в лес и, как сказано выше, обвиняла гору Чабаницу и заканчивалась у ее основания, сливаясь с широкой дорогой, ведущей в Третивку и другие села...

Поднимаясь по этой тропинке от мельницы Дубихи лесом, прохожий видел с одной стороны полонины, а с другой — глубокую пропасть, на дне которой журчал веселый, никогда не высыхающий поток, и натывался на ко-

лыбу Иванихи Дубихи, стоявшую почти на самом краю пропасти, за старыми пихтами.

Белая тропинка, которая бежала мимо колыбы, любовно обнимая Чабаницу над самой пропастью, не заканчивалась тут. А колыбе и дела не было до тропинки, которая могла подчас привести к ней непрошенного гостя-путника. Колыба стояла, упираясь одним боком в какой-то камень, величиной чуть ли не с нее самое, который, казалось, отломился от вершины Чабаницы, от увенчивавшего ее Белого камня и, скатываясь, остановился, наконец, за белой тропинкой, над краем пропасти, служа некоторой опорой для маленькой колыбы. Восточной своей стороной заглядывала из-под пихты в самую пропасть с ее шумным потоком... и смотрела дальше, через нее, на соседнюю лесистую гору. Колыба эта почти не видна под сенью широких мохнатых веток вековых пихт. Потому-то она так и приглянулась цыганке Мавре... и пробудила в ней мысль... поселиться там и в уединении отдаться целиком ворожке и лечению людей разными травами с горы Чабаницы.

В первые годы своего существования колыба служила приютом для чабанов Ивана Дуба, которые жили здесь не только летом и пасли скот на пастбищах и высокогорных лугах, но иногда и зимой, когда была в этом необходимость. После смерти Ивана Дуба колыба несколько лет пустовала и, наконец, дождалась нового обитателя в лице цыганки Мавры, которой казалось, что никто и ничто не нарушит тут ее покой и она сможет свободно заниматься гаданием, знахарством и всем тем, чем занимаются цыганки-ворожейки.

* * *

В один прекрасный летний день Мавра переселилась на Чабаницу.

Маленькая двенадцатилетняя Тетянка провожала ее вместе с Иванихой Дубихой, как бы помогая переносить вещи цыганки, которых, впрочем, было так мало, что за две ходки уже все в хатенке над обрывом стояло на месте.

Когда Тетянка, плача, возвращалась белой тропой от Мавры, в ее маленьких ушах болтались золотые сережки-полумесяцы, которые цыганка достала, вспоров какие-то лохмотья, и подарила девочке на память. «Носи их, доченька, и не снимай никогда!.. — приговаривала с серьезным

видом Мавра, вдевая их в уши ребенку. — Золото оберегает от зла и притягивает другое золото. В детстве получила я их от матери, а та раздобыла их где-то далеко-далеко славным своим чародейством. Носи их, и ты будешь прекрасна и богата, как сама туркиня»¹.

— Как сама туркиня, — повторяла за ней так же серьезно девочка, спокойно перенося операцию, которую совершала над ней ее смуглая приятельница, и внимательно вслушиваясь в каждое ее слово.

Потом, пообещав друг дружке частенько, по возможности, забегать, они расстались.

— Приходи ко мне, Мавра, а то я без тебя умру! — напомнила еще раз, уходя, Тетянка.

— Приду, доченька, приду! — повторила, словно клятву, Мавра, утирая слезы, катившиеся по ее худому лицу.

— Каждый день, — наставляла девочка.

— Навряд ли, — последовал ответ, — особенно в первое время. Чтобы люди, видя меня так часто у вас, не насмехались и не говорили бы: «Через дверь цыганка вышла, а через окно воротилась...» Ты не печалься, доченька. Мавра Тетянку любит и не забудет — придет.

И в самом деле сдержала свое слово. Приходит, как обещала. Правда, не каждый день, но и не редко. Только зимой плохо. Мать дочку не отпускает, а Мавра приходит к ней один-два раза в неделю. И, наполнив свои кожаные торбы тем, что надарит Иваниха Дубиха, наигравшись и налюбовавшись вдоволь Тетянкой, довольная, возвращается к себе.

А Тетянка, которая понемногу уже стала отвыкать от Мавры, повернется, бывало, улыбаясь влажными глазами, к матери и прижмется к ней...

* * *

Быстро привыкла Мавра к своему романтическому жилью и не жалеет о том, что переселилась.

По жителям в долине она не тоскует, там ей не мало крови испортили, верно, всю жизнь не забудет. А бабы и молодницы, дивчата и парубки, а порой и старые хозяева, и знакомые, и незнакомые, которым требуется совет, лекарство или наговор, найдут ее и здесь. И никто не приходит с пустыми руками.

¹ Туркиня — турчанка (укр.).

Одна принесет муки, другая молока, хлеба, третья — светильное масло, кое-кто деньжат на табак, каждый что-нибудь да поднесет, никто с пустыми руками не явится. И хорошо ей живется, Мавра не испытывает большой нужды, ей много не нужно.

А Тетяна год от году все растет, хорошеет. Она тоже прибегает погожими утрами к старой своей приятельнице — и не скучно Мавре.

Летом собирает она грибы, малину, ягоды, носит их в город на продажу, и, глядишь, кое-что перепадает и за это. В пятницу и в субботу она спускается в соседние села или даже в город к богачам за милостыней и никогда не возвращается с пустыми торбами.

Вечером раскладывает добытое на столе и скамье, которые еще от пастухов остались, и любит. Поутру сбегает к Иванихе Дубихе присмотреть за какой-нибудь скотиной — и живется Мавре не худо. Сказано ведь: ей много не нужно. А зимой опять же дни короткие, ночи длинные — проходят быстро. Весной и летом, до самой поздней осени, ходит она еще и травы собирать, которыми тайком торгует, ворожит... и вот так коротает ворожея Мавра свои дни в лесу, на горе Чабанице...

* * *

Иначе живется Иванихе Дубихе и Тетяне в долине, у мельницы. Иваниха устает от хлопот по хозяйству, а Тетяна растет, превращается в настоящую прекрасную лесную русалку¹.

Ей уже пошел двенадцатый год.

Высокая, стройная, белолицая. Особенно бросается в глаза каждому, кто бы он ни был, матовое лицо и черные густые, сросшиеся на переносице брови, словно дуги над черными задумчивыми глазами.

Она — как богатое боярское дитя, которое молчаливо удивляется всему на свете.

Кто ни пройдет мимо — всякий засмотрится на молодое прекрасное лицо, на высоко поднятые черные брови, которые придавали ему выражение глубокого удивления, — всякий поневоле задержит на ней свой взгляд и залюбуется.

А она — ничего.

¹ В украинской мифологии, кроме водяных, есть еще русалки лесные и полевые.

Молча кинет сверху удивленный взгляд (ростом пошла-то ведь в мать), потом, смутившись бог весть отчего, улыбнется. И как же она прелестна, когда улыбается! Сколько душевной и сердечной мягкости, сколько тепла невольно выдает улыбка молодых невинных уст. Душа ее чиста и бела, как голубь, и решительно ничего дурного она не ведает. Да и что дурное могла знать молодая Тетяна, если, кроме леса, мельницы, своей хаты со святыми иконами и старой няни Мавры, ничто другое ей неизвестно. Но, кажется, никто так хорошо не понимал всей прелести юной Тетянки, как ее почтенная мать. Глядит, бывало, и молча, в душе, молится за нее. И восхищается не только телесной красотой, но и душевной добротой своего единственного ребенка. В сущности ее никто так не знает, так хорошо не понимает, как мать. Какая уродилась она трудолюбивая, какая честная, милосердная. Только смилуйся, господи, ты над нею, пошли ей счастливую долю!

И страшно становится иногда Иванихе за судьбу своей дочери, над которой она дрожит и которую молодые люди подстерегают, словно хищники. Она видит, как ее высматривают издалека, бегают за ней и тут же обступают, точно грабители. Есть среди них красивые и богатые, но Иваниха все ждет кого-то получше, достойнее. Сама уже не знает кого, и как бы бессознательно прячет ее для какого-нибудь ангела, царевича, который вот-вот откуда-то появится и заберет ее от матери под свою верную защиту.

Откуда бы он мог появиться?

Не знает.

Сердце ей еще ничего не предвещает.

Из долины, из их села? Нет. Здесь, в долине, она знает всех. Столько раз уже сватов выпроваживала. Не понаравилась — ни матери, ни дочери. Но, может быть, оттуда, из-за той горы, куда, расширяясь в своем течении, убегает река... или, может, оттуда, сверху, со сплавом, и он когда-нибудь явится.

Может быть...

Поэтому нужно оберегать и приглядывать за Тетянкой, чтобы не вышла за неровню.

Присматривает за девушкой, нежит ее Иваниха Дубиха, дрожит над ней и молит бога даровать ей счастье.

Оно придет.

Тетянка добра, милосердна и трудолюбива — почему бы господу не наградить ее за это счастливой судьбой?

Для добрых злой судьбы не бывает.

Живет Тетянка беззаботно у матери, словно цветок в саду. Немного видит и слышит она. А главное — не видит никогда горя. Не видит даже своей красоты, которая всех, подобно солнцу, ослепляет, разве что над ясной водой склонится — тогда лишь увидит себя! А там...

Словом — не замечает и не слушает никого.

Мать лишь изредка отпускает ее в село к девушкам-ровесницам. Оно довольно далеко от усадьбы и мельницы, и матери боязно за дочь. Тетянка у нее как одна душа, одно сердце в груди, и потому мать всего боится. Суженый сам на мельницу заглянет. Своим громким шумом она не одного притягивает. Она — словно какая-то особая вотчина, а Тетянка — ее боярыня. Как не залюбоваться ею, не заглянуться на нее.

Одного лишь теперь не запрещает мать Тетяне. В одном не стесняет ее никогда. Это — ходить к ворожейке Мавре, к обрыву, когда бы ей того ни захотелось, а также гулять в лесу.

Поднимаясь вверх лесом, Тетянка поет во весь голос, словно изливает все, что звенит в ее душе. А оно прозрачно, сильно, естественно и чисто. Это — первозданная божья красота.

Идет девушка белой узкой тропинкой вверх, то и дело нагибаясь, чтобы сорвать печально склонившийся цветочко-колокольчик, — идет под волнующий шум пихт, мимо своих и соседских полонин. И хорошо ей здесь.

А старая Мавра! Гай-гай, кто так сумеет оберечь девушку, как она! Ее ведь все боится, хотя бы из-за страшных ее глаз, — сверкнет ими — и беда! Потому никто и словом не смеет задеть Тетяну.

Сама же Иваниха Дубиха, строгая и богомольная, каждое воскресенье и праздник вместе с дочерью ходит в божий храм, а зимой ездит...

* * *

Юный Гриць, приемыш богатея Михайла Дончука из Третивки, что поблизости от венгерской границы, довольно рано узнал о том, что он не родной сын, а чужак, подкидыш, которого нашли когда-то в лохмотьях на завалянке. Хотя его хозяева, или, как он их называл, отец

и мать, хорошо его содержат и красиво одевают, но хозяйка, осердясь, порой клянет его на чем свет стоит. И в такие минуты Гриць слышит, что он — «бродяжье семя», которое в «цыганском» продымленном насквозь отрепье оказалось «на горе» добрым людям под их мирным кровом.

Тогда Гриця охватывала такая боль и такая ненависть к миру, который окружал его в этих горах, что он готов был уйти куда глаза глядят, лишь бы ничего тут не слышать и не видеть. Но не только тогда пробуждается в его сердце какая-то странная тоска, влекущая вдаль... в чужие края. Нет. Это мучительное чувство тревожит его и в спокойные минуты. Не позволяет оставаться на одном месте, за что больше всего приходится ему выносить хозяйскую брань, а порой и побои. Бывало, прикажут ему пасти овец; он пасет день, два и даже все четыре хорошо, усердно. А потом ни с того ни с сего бросит стадо или потянется совсем в другую сторону, где не хватает ни травы, ни воды. А то еще пристанет к чабанам или хлопцам, пасущим лошадей... и здесь повторяется то же самое, пока он не притащится, наконец, словно насытившись этой переменной мест, домой.

Однажды, уже семнадцатилетним хлопцем, выбрал он из отцовского табуна лучшего коня и давай объезжать зачем-то соседние села. Уж где только не искали его, уж как истосковались хозяева по хлопцу — пропал, будто в воду канул. Только на седьмой день нашел его хозяин под стогом, возле лошадей, без шапки, спокойно вырезающим свирель, на которой играют хлопцы.

— Ах, разбойник, где ты целую неделю на коне гонял? — в сердцах накинулся хозяин на Гриця и, схватив его за густой черный чуб, с силой дернул.

— Я соседние села объезжал, — ответил Гриць совершенно спокойно, высвобождая свою красивую голову из деспотических рук хозяина-отца, — расспрашивал, где достать скрипку.

— Скрипку? — воскликнул хозяин и даже глаза вытаращил от удивления. — Стало быть, я тебя для этого растил и кормил? И самого дорогого коня для твоих прогулок держу? погоди, лодырь безголовый, погоди! — орал он во все горло. — Ишь что только придумал — скрипку! Тыфу!

— С конем ничего не случилось, — ответил Гриць спокойно. — Я коня берег, смотрел за ним. Вот поглядите, он

даже лоснится на солнце — такой сытый да холеный. А мне нужна скрипка, к тому ж взяла меня охота поглядеть соседнее село. Скучно, отец, на одном месте сидеть, оттого я и поехал. А работу я бросил не такую уж важную, сами знаете, потому и поехал. Коли пора горячая, я нигде не шатаюсь, а нет — тогда еду. Вот так!

У хозяина от удивления точно язык отняло. Он протянул было руку к голове хлопца, как раньше, но Гриць взглянул на него такими удивительно грустными и вместе с тем такими ясными глазами, что он только сплюнул и, выругавшись в усы, отошел от него.

Гриць улыбнулся, откинул со лба пышные волосы, шелком упавшие после трепки, и принялся вновь за работу. «Отец опять свое, — думал Гриць, — а я свое». Он хотел во что бы то ни стало раздобыть скрипку и научиться на ней играть, чтобы ему не было так скучно в одиночестве, не тянуло с места на место, когда он, сидя верхом на лошади, пас в горах коров или овец; и вот это-то ему и не удалось. Но зато он делает себе свирель, и, когда заиграет на ней, все двачата, пришедшие на танцы, окружают его и будут слушать и плакать. «Эй, гей! — улыбнулся Гриць от столь заманчивой мысли. — Эй, гей! Что мне хозяин...»

Но хозяйка-мать, узнав, куда и зачем гонял он семь дней на самом лучшем коне, встретила его иначе: хоть она и очень его любила и в хорошем настроении бывала с ним ласкова, но разгневавшись — не прощала.

— Бродяга! — накинулась она на Гриця, когда тот вошел в хату, и, не долго думая, ударила его широкой ладонью по щеке. — Бродяга! — кричала она, скорая на расправу. — Ты думаешь, бог дал время на то, чтоб попусту на коне скакать? Попомнишь ты эту поездку, — не унималась она, вновь замахиваясь на хлопца. — Попомнишь! — Но ударить его ей не удалось. Хлопец так изменился в лице, что хозяйка сдержалась.

Словно ужаленный змеей, с видом надменного бояра, Гриць подскочил к ней вплотную и, будто клешнями стиснув ее руку, процедил:

— Я не бродяга, — проговорил он сдвленным от волнения и обиды голосом, — я не бродяга. Я ваш сын. А если вы отпираетесь, уверяете, что я приемыш, так не позорьте меня. Хлеба вашего я даром не ем; как умею, отрабатываю. А если не работаю, сколько вам хотелось бы, оставьте меня в покое. Я уйду и не вернусь. Возьмите батрака на мое место, и вам лучше будет. Мне не всякая

работа по нутру, потому не все и делаю. И не буду делать. Поняли? И запомните, — я вам не батрак! То, что я съел у вас, я уже отработал. — И, хлопнув с неописуемо высокомерным и гневным видом дверь, вышел.

Его жесты и голос были так повелительны и властны, что хозяйка смолкла и поблелела.

— Тыфу! — сплюнула она и перекрестилась. — Что же это такое? Кто это у меня в хате? Приемыш, бояр или попович? Ишь какое почтение матери оказал — перед самым ее носом дверь, точно перед нехристом каким, хлопнул, он-де не «бродяга», его-де не «позорьте». Михайло, вы слышали? — крикнула она в соседнюю комнату, откуда и без того уже высунулась высокая, пригнувшаяся в низких дверях фигура.

— Да слышу, — ответил хозяин. — Ну и что же?

— Что? — вопила жена. — Вы еще спрашиваете, что? Видите, какое он оказал уважение за ваш хлеб-соль.

— Да не дразни ты его постоянно «бродягой» да «бродягой». Ты сама видишь, он уж таким уродился, на месте долго не усидит. Что же с ним поделаешь? Убить его за это я не убью.

— Я его заставляю, — кричала в ответ хозяйка.

— Да нет, не заставишь. Я уж и без тебя пытался. Злом ничего путного не добьешься. Знай: теперь он опять несколько дней на глаза не покажется. Черт знает что у него за нрав — да уж таков он есть.

— Из бродяжьего рода, — принялась опять за свое хозяйка.

— Мы его отца-матери не знали... — оправдывался муж (который, правду сказать, Гриця очень любил и всегда защищал его перед женой, хотя тайком и ругал за бродяжничество), — мы нашли младенца у нашей хаты. Он, может, и панский ребенок — этого мы не знаем. Попробуй только его словом задеть — сразу вскипит, и потом его не скоро утихомиришь. Для меня Гриць не бродяга.

— А я говорю, что он бродяжьего рода. Лежал в закопченных лохмотьях, хоть и был там узелок с червонцами.

— Да уж в закопченных или нет, а теперь он наш. А коли уж наш, так не обижай его. Видишь, терпенья у него нет вовсе. Еще когда-нибудь, осердясь, бросит нас.

Хозяйка умолкла, пожав плечами. Это ей никогда не приходило в голову и потому слегка обескуражило.

— Ну и наговорили! — бросила она уже почему-то примирительно, словно больше не хотела и упоминать о

«бродяге». — Как это «бросит»? После того, как мы его воспитали, и он чуть ли не до потолка вымахал?

— Именно теперь и бросит. Теперь он где угодно на работу наймется, а раньше мал был.

— Э, да что там! — перебила его сухо жена. — Надо вам знать. Михайло, он как-то мне сказал, что отдалшить себе новый узорчатый кожушок. Он уж с этой поры начинает дивчатам голову кружить.

— Да разве ему запретишь? — ответил хозяин. — Красивый, молодой, вот и кружит.

— Он уже чуть ли не на все танцы ходит.

— И пусть себе. Кто молод, тот и гуляет.

— А если он завтра скажет вам, что хочет жениться? Вокруг него дивчата роем выются... Что вы тогда будете делать?

— Не позволю и земли не дам. Ему еще рано жениться... пусть еще при нас похозяйничает, чтобы знал я... кому землю когда-нибудь передам.

— Как бы не так... очень вас послушает! — бросила жена. — Я уже не раз замечала его с Настуней Кривинюковой. За другими волочится, а к ней прямо-таки льнет.

Хозяин усмехнулся:

— Я уж давно это знаю. Сам отец ее мне говорил.

— Да он бы рад его заполучить. Только, по-моему, Гриць еще не одной голову вскружит, пока женится... — ответила жена.

— Пока на свою не наскочит... — закончил хозяин.

— На свою не наскочит... — повторила она и смолкла.

— Старый Кривинюк добрый хозяин, и Настка работающая дивчина, в отца пошла. Пускай когда-нибудь и поженятся, коль она ему сужена, — отозвался снова хозяин.

— Да, хорошая дивчина... — подтвердила как-то нехотя жена. — У нее и сейчас разум, как у старухи. Хорошая... — и замолчала.

— Тем-то она для него и хорошая, — ответил муж. — Он из-за лошадей и голову готов потерять... а она будет за всем присматривать. Тем-то и хороша.

Иногда, после споров с родителями, Гриць сознавал, что они правы, но в то же время прав и он, — особенно, когда, повинуясь своей натуре, он совершал «такое», что вызывало гнев обеих сторон, — и тогда он уходил из дому

и не возвращался до тех пор, пока не успокаивался сам и его хозяева.

И это повторялось частенько, а все из-за его странного характера: Гриць не терпел ни малейшего насилия над собой, был очень обидчив и выше всего ставил свободу. Если бы не соседская дочка, Кривинюкова Настка, с которой он дружил и делил все горести, не отцовские лошади, которых он больше всего на свете любил, не овцы, покорные, как дети, знающие каждый звук его голоса, что его тешило еще с мальчишеских лет, — он давно бы уже бросил родителей и ушел куда глаза глядят. Его здесь будто из цепи держат, а некоторые говорят — особенно один старый седоголовый цыган, который вот уже несколько лет подряд появляется в их селе по дороге из Венгрии, заходит к ним за милостыней и, отдыхая у них, рассказывает, — что где-то, далеко за этими горами и лесами, есть другой мир, другие люди. Гриць пошел бы туда, учился бы, стал бы большим паном и жил бы там, научившись прежде всего играть на скрипке.

Вот о чем раздумывал часто Гриць, особенно когда был еще подростком; от ташился, полный беспокойства, за овцами с места на место и получал от родителей нагоняя. Но теперь он уже парубок с усами, который, как говаривал, смеясь, отец, «до ума носом дотянулся» и, казалось, успокоился. Если мать, рассердившись на что-либо, обзовет его «бродягой» или еще хлеще — «цыганом»... он только засмеется.

— Разве у меня, мама, черные глаза и я такой смуглый, что на цыгана похож? У меня глаза голубые, как небо, говорят дивчата, особенно Кривинюкова Настка, я им за это и мил, а вы, не выдавши ни отца моего, ни матери, выдумываете еще каких-то цыган. Грех, мама!

И мать замолкает, улыбаясь... и становится опять доброй; она ведь душу отдала бы за своего Грицька, ведь едва ли не все ей завидуют — такой он красивый да разумный удался. И действительно, на Гриця невозможно долго гневаться. Он всех «обвораживает», как уверяет его белолицая Настка.

Чем?

Может быть, как раз своей двойственной натурой, а скорее всего тем, что у него две души, которые время от времени, словно пробуждаясь, вступают в единоборство. Одна из них — непостоянная, печальная, легкомысленная, пылкая, другая — впечатлительная, гордая и одаренная. Тянет

Грица к добру, к красоте, к любви... по больше всего — к свободе, необъятной, безграничной, как крылатые леса на вершинах, как быстрые реки там, в долинах. Как та широкая пуста, которую он, наслушавшись рассказов старого *Андронати* (так называл себя седоголовый дыган), порой даже во сне видел. «Хишником» он родился, баламутом, — говорит Настка, которая любит его, как родного брата или даже еще сильнее, и именно за то, что он такой. Она самый близкий его друг — и в горе и в радости. Она ему как бы успокоение приносит.

— Чего ты такой хмурый, Гриць? — спрашивает она иногда, увидев его серьезным, хмурым.

— Тяжко на душе, — отвечает он.

— Так сыграй на свирели или на трембите. Для себя и для меня сыграй, Грицунь! — искренне просит и прижимается к нему белолицая Настка. — Никто в селе не играет, как ты, — так славно, так сердечно. — И этими словами она словно переносит его в другой мир. И, чтобы доставить удовольствие ей, и заодно уж и себе, он начинает играть.

Только и счастья у него, говорит, что свирель, трембита и Настка.

И это правда. Никто окрест не играет так душевно, как он. Особенно на трембите, он словно святую молитву по вершинам разносит...

А летними вечерами никто так не поет, как Дончуков Грицько, когда, работая во дворе или ухаживая за скотиной, затягивает одну за другой простые песни. И все они или очень печальные, или очень веселые, других он не любит.

В селе девушки так и льнут к нему, а он — ни к одной. Разве что к синеглазой Настке, да и то, как говорит товарищам, «не всегда», а только когда она его опять «на путь истинный направит», заставит работать, не дает «шататься» — тогда Гриць голубит ее, уверяет, что когда-нибудь посватает. А над всеми другими девушками, хоть и балагурит с ними, — постоянно посмеивается.

— Вы, дивчата, — говорит он Настуне, — все глупые.

— До поры, до времени, Грицунь... до поры до времени... — отвечает спокойно Настка. — До поры до времени, может, мы и глупые, но когда нарвешься на такую, что вскружит тебе голову, а то еще, может, и любистком напойт, — тогда, гляди, чтобы не растерял ты весь свой великий разум!

— А вот я же тебя люблю, Настунька, — защищается Гриць, и в его веселых глазах смех, — а еще разума не потерял.

— Кто знает, не потерял ли... — отвечает она и смотрит так же, как он, искренно, прямо в глаза. — Вот ты меня любишь, приходишь ко мне, а порой, как уйдешь, — всю неделю с конем да с конем, а не со мной; разве это разум?

— Да разве я не всегда таким был? — оправдывается Гриць.

— А может, ты и к другим дивчатам ходишь, почем я знаю, Грицунь? — спрашивает она. — Не знаю. — И говорит это без упрека, без злобы, а совершенно спокойно, как ребенок.

— А почему бы мне не быть с лошадьми, не любить других дивчат? — спрашивает он, но уже больше для того, чтобы подразнить ее. — Садись и ты, — говорит, — на любую лошадь и езжай со мной, насмотришься вдоволь, как Гриць с лошадьми толкует и с другими дивчатами гуляет. Сама все увидишь.

— Я не любопытна, — отвечает она гордо, но в глубине души все же оскорблена его равнодушием, хоть и не показывает виду; а потом, взглянув в его ясные глаза, которые смотрят на нее со скрытой улыбкой, сама улыбается и говорит: — Над дивчатами не смейся, не глумись, Грицунь, потому что в иной из них нечистый сидит. И смотри, — серьезно продолжает она, — некоторые в молодости очень красивы, притягивают к себе... особенно чернобровые, а под старость, говаривала покойная бабка, у коров молоко забирают да в полночь на метле из трубы вылетают.

— А мне-то что? — отвечает Гриць. — Я не корова и ведьм не боюсь. А вас всех, русских и чернявых, одинаково люблю, — хоть вы все одним миром мазаны, и добрые, и пригожие, и глупые, — а Настуньку Кривинюкову я все-таки больше всех люблю. А коли я порой, Настуня, о тебе забываю, ты ни на меня, ни на кого другого не сердись.

— Разве я когда-нибудь сержусь, Грицунь? — спрашивает она и опять смотрит с выражением беспредельной преданности ему в глаза. — Я ведь сама сказала, что ты «хишником», баламутом родился... и без добычи... долго не сможешь. Я не сержусь.

— Я не говорю этого, душа моя. Ты единственная на свете добрая и сердечная, ты одна меня на правильную дорогу выводишь. К дому, к работе, к родителям привя-

зывает; без тебя уж давно был бы я... — и, сделав размахистый жест, он указал рукой в неведомую даль, присвистнул и улыбнулся.

Белолицая Настка просто упивается словами красавца хлопца. Для нее они означают и любовь и счастье, означают целый мир, а вместе с тем она чувствует, что и впрямь чем-то крепко держит его при себе, что имеет над ним власть. А чем именно? Не знает.

И даже не задумывается над этим. Знает только, что нужно и дальше держать его при себе, что любит его всей душой и не может сердиться на него. Если она будет гневаться на него, злиться, — думалось ей иногда, — он возмутится и, подобно птице, улетит, сядет на другом дереве — и тогда он потерян для нее...

И Настка никогда не сердится на Гриця... Она его любит и своей любовью крепко привязывает к себе. Ведь они когда-нибудь поженятся. Где та сила на свете, — спрашивает она себя с глубоким чувством, — которой мог бы Гриць покориться больше, чем ей, Настке? Из девушек он любит ее больше всех: сам признает, что она выводит его на правильный путь, склоняет к работе, привязывает к родным. А что же еще? То, что он... порой на неделю... другую... перхом на коне из села уезжает... Это ей не страшно. Мать говорит, что это на него, может, и напущено... Со временем само пройдет, и не стоит его за это попрекать. Поэтому она спокойна и любит его спокойно. И ничего иного она не знает. Знает лишь свое искреннее простое сердце и красавца Гриця, у которого две души. И в этом вся ее правда. Большая, глубокая, серьезная правда, которая ее переполняет, с которой ей хорошо...

* * *

Глубокая зима.

В лесу беспокойно. Зеленые ветви под тяжестью снега склоняются низко к земле, как и в любую другую погоду, и ветер, бушующий вверх, с трудом протискивается между ними, раскачивает их все сильнее и сильнее. Они сопротивляются ему, но устоять не могут. Ветер насаждает все яростней, и вскоре по лесу проносится стонущий шум. Разыгралась метель.

Ветер налетает с каждым разом все сильнее, он сбивает пласты снега с деревьев, раскачивает всю даже

самые высокие кроны, гудит зловеще, а в воздухе разносится во всю ширь крылатый шум соснового бора...

Страшно теперь в лесу, глухо. И хоть еще не полночный час, а с волком все же можно в такие ночи повстречаться.

Над хижинкой Мавры, аккуратно обложенной со всех сторон пихтовыми ветками, сосны низко склоняли, будто сжалившись над нею свои отягощенные снегом ветви, словно защищали ее от ветра, который всей грудью напирал на них, нарушая их обычный торжественный покой.

В жилище Мавры тихо. Только в печке горит, потрескивает веселый огонь, освещая всю хату, и ярче всего то, что поближе к печи, а именно: самое Мавру. Она придвинула к печке широкую скамейку из почерневшего дерева и, расположившись здесь, раскладывает карты. На самом краю печи растянулся и дремлет черный кот, будто следит за огнем и движениями своей темнолицей хозяйки. На самом же верху, на печном карнизе, нахохлившись и положив голову под крыло, спит угрюмый ручной черный ворон. Все остальные предметы в этой задымленной хатенке тонут в сумраке, который то рассеивается, то становится гуще, если огонь вспыхивает или угасает.

Мавра сегодня гадает о своей судьбе.

Худая, изможденная, с всклокоченными седыми волосами, она страшна, как привидение.

Время от времени она протягивает свои худые руки, греет их у огня, пылающего в задымленной дочерна печи, и что-то бормочет тихо про себя. Ее большие черные глаза, в которых словно навсегда затаилась печаль, теперь то и дело обращаются с опаской к единственному покривившемуся крохотному окну и ждут.

На дворе беспрерывно гудит ветер. Сегодняшняя ночь предвещает что-то недоброе, и хотя ей, одинокой, уже не впервые переживать такие ночи, но сейчас все же почему-то страшновато. Ветер гудит в лесу, мечется, воет, даже пламя беспокойно в печи. А лес шумит, стонет, будто сама смерть со своим воинством ринулись в чащу деревьев. Что-то ломится сквозь лес, трещит, что-то стонет, что-то ползет. Как вдруг... господи боже... что это? Кто-то как раз в эту минуту постучался в окно, или это ветер швырнул в него комьями снега, чтобы ее, одинокую... одну на весь лес, напугать? Ветер — самый лютый враг цыган, он это любит. Он живой. Иногда он страшнее самой силы

господней. Она это еще сизмальства знает. Огонь греет, резвится, освещает ее всю, бросает на противоположную стену тени страшных чудовищ, озаряет скамью с разложившимися на ней старыми, стертыми, почти уже круглыми, картами, — и вот что читает в них Мавра: нужда, печаль, одиночество, как обычно, но вдруг здесь какие-то люди. Что-то большое, неожиданное ждет ее, что-то неясное, для чего требуется еще время. Оно еще далеко, но наступит.

Во всем этом замешана и дорогая для нее дивчина, ее Тетяна. Та единственная, которая еще удерживает ее на этом свете. Ее «туркия», как она сама и люди прозвали Тетяну за золотые серьги-полумесяцы в ушах. А дальше Мавра сама не знает, как объяснить то, что говорят карты. Относится все это к ней или к дивчине? Не знает. Да, на этот раз совсем не знает. Другому, может, и сумела бы объяснить, предсказать сроки... или судьбу... в этом ее никто не превзойдет. Но сегодня, самой себе, — нет. То, что она перед собой видит, означает печаль или радость? Потому что печаль и радость идут как бы рядом, рука об руку. Вот здесь кровавые слезы, смешанные со слезами радости. Что это?

Неохотно собирает карты, кладет их подальше от себя, закуривает трубку... и ждет.

Ее словно давит сегодняшняя ночь. У нее тяжело на душе, точно у изменницы, точно у преступницы. А ведь она сегодня не только не обманула никого, но даже и не видела ни души. Да и кто бы стал ходить по лесу... в такую пору? Разве лишь тот, кто жаждет смерти, кто ищет ее. А смерти даже и она пока не ищет. Она... которая сама не знает... зачем по свету мыкается. Для чего ей жить? Кому она нужна? Что ее может еще ожидать? Она бредет по жизни только теневой стороной, бредет, пока не встретится с самой ночью, не соединится с нею навеки...

Так она думала, раздумывала в печали, когда вдруг что-то с такой силой стукнуло в ее маленькое оконце, что даже стекло зазвенело, и она чуть не вскрикнула от страха. И снова тихо.

Снова ничего. Один лишь крылатый и беспредельный шум и стон в лесу. Это шла смерть. Мавре в ее одиночестве чудится, что это смерть сквозь леса пробиралась, вот она коснулась хижин, косой зацепила, чтобы о себе напомнить. Смерть.

Верно, этой ночью не одно дерево-великан рухнет, не

одна крона сломится, не один зверь сгинет. Страшная ночь.

Мавра озирается. Ей словно не хватает чего-то. И не чего-нибудь из окружающего мира... нет, в ее душе, в сердце чего-то недостает... Чего? Ведь она к одиночеству привыкла.

Не знает.

Машинально скрещивает руки на груди, но уста ее не шепчут молитвы. Она не умеет молиться. Не молилась бог знает с каких пор. Да хоть бы и молилась, — к ее народу бог не благоволит. Не любит их. Поэтому-то они в вечной нищете по свету и мотаются. Отбывают кару тысячелетнюю. И только ночью оживают, ночь их влечет, забывают бога и разве что к луне обращаются со своими просьбами. Луна им помогает, но в такие ночи и она в страхе перед чем-то прячется.

Пламя вдруг само собой вспыхнуло с новой силой и бросило красный отблеск на скамью, где лежали карты. Мавра взяла их снова в руки, пошептав сначала что-то над ними, разложила, как в первый раз.

И опять смотрит... и смотрит... И снова не может до конца понять, что они ей предсказывают сегодня? Что-то большое, большое, и печальное, и радостное охватывает ее. То ли ночь, то ли день. То ли свадьба, то ли смерть. И замешан кто-то в этом, кто-то близкий и кто-то дальний. Парень и дивчина. Да нет. Две дивчины. И вот тут хорошо, а вот тут худо. С одной стороны, будто богатство и благополучие, а рядом с этим нищенская сума, дорожная клюка. Мавра сплюнула, хочет уже смешать карты.

Но нет. Одно, кажется, ясно.

В ее хату придут двое мужчин. Один молодой, другой старый. Одному — то ли ей, то ли ему? — смерть. Другому — то ли ей, то ли ему? — радость. Между обоими стоит радость. И оба придут к ней. Сами придут. Вот молодой... придет прямо к ней в хату, хоть еще нескоро. О, нескоро еще! Оба словно бы должны сойтись в ее хате... однако... господи боже, не смерть ли приведет с собой... один из них?

Да, смерть. Страшную, черную смерть. Вот что предсказывают... эти карты черной масти. Берегись, Мавра! Ты не раз в жизни грешила! Не раз запутывала, обманывала людей, которые доверчиво обращались к тебе за помощью...

И снова в ее голове все смешалось. Снова она во всем этом не может разобраться. Она неохотно отодвинула карты, словно злого пророка, вестника; и, повернувшись спиной к теплой печи, легла, скрючившись чуть ли не вдвое, на широкой скамье и попыталась уснуть.

Уснуть! не в такие ночи спится! не в таких местах, как здесь. Вот-вот хатенку снесет, сбросит белая выюга в глубокую пропасть. Вот она наваливается, теснит, силится смести ее с дороги, гудит, воет. А снег подбирается все выше к оконцу. Жмет к стене, наметенный выюгой. Одни пихты защищают ее своими широкими густыми ветвями, только эти святые деревья сдерживают натиск смерти. Но кто измерит силу метели в такие лютые ночи? Смерть идет не одна. Она тащится со всем своим воинством, как когда-то давно об этом рассказывали отец и мать. Со всем своим воинством движется, летит. Сама впереди, а за нею — войско. И все с косами, с черными хоругвями. Всегда все вместе. Всегда в такие ночи. Вои как воют, как возвещают о себе.

И уже Мавра дремлет; завыванье выюги мало-помалу ее усыпляет. Вдруг Мавра просыпается, вскакивает на ноги и трясется от внезапного испуга.

В ее окошко кто-то настойчиво стучит, кто-то добивается.

Смерть?

Мавра раздумывает. Конечно, она.

Мавра молниеносно расплывается на полу и подползает к двери, словно преграждая своим телом кому-то доступ в хату. Возле двери темно, здесь никто ее не увидит. Огонь в печи уже словно умирает, бледнеет, в хате темно.

— Пустите в хату! — слышит она старческий охрипший голос, и у нее от испуга мороз пробегает по коже, а всклокоченные волосы встают дыбом. И утихает. А через минуту опять: — Пустите в хату!

Мавра не шевелится. Затаила дыхание, все ее существо, напряженное в эту минуту, обратилось в слух. И уши, и глаза, и сердце — все, что живо в ней, теперь только слушает.

И она слышит.

Ох, как бушует ветер, потешается над соснами, как расшумелись боры, дремучие леса! Вот уж и ее хата качается, уже сползает в овраг, вот-вот рассыплется, повалится. Капли пота выступают у нее на лбу. Смерть!

— Пустите в хату! — доносится опять старческий голос, кто-то отчаянно грохает в дверь, а потом будто ждет, и — опять тишина, ни словечка больше...

В хате могильное безмолвие.

— Пустите в хату! — доносится в третий раз полный отчаяния, страшный голос...

Мавра застывает, не шевелится, будто знает заранее, что ее ждет, если откроет. Она не в состоянии это сделать.

Разбойник не пожалеет. Мавра знает множество подобных случаев, да и сами цыгане поступали так в прежние времена. Попросится в хату, доверчивый хозяин откроет, желая спасти человека, а его за это, точно зверя, бух... и весь сказ...

Нет. Она не сегодня родилась на свет, она не впустил никого. Не хочет быть убитой. Ее страшит смерть, она боится.

«Мавра, Мавра, у тебя на душе не один грех, сделай какое-нибудь доброе дело... многое тебе простится, — твердит ей внутренний голос. — Впусти! Может, какой-нибудь бедняга, чужак, боится погибнуть. Впусти!»

«Мавра, Мавра, опомнись», — молит в ней что-то опять, и трясет ее, как в лихорадке. Что-то борется в ней, толкает к двери, заставляет отворить. Она опять начинает дрожать от ужаса, все внутри в ней противится, будто она и в самом деле услышала под своим окном идущий из-под земли голос смерти, которая добивается ее.

Она сходит с ума от страха. Не знает, что делать.

Не поднимаясь с земли, она ощупывает дверь и, напрягаясь изо всех сил, прислушивается.

За окном утихло, шумят лишь сосны и отчаянно шаркают чьи-то ноги, словно отыскивают в снегу теплое место, борются с холодом.

Мавра снова обливается холодным потом, и ее поднятые руки бессильно падают.

Нет, не может открыть. Не в состоянии. Нет у нее сил, страх одолевает ее. Страх перед этим, как ей кажется, подземным голосом, который просится к ней. Да будет воля божья. Она одна на свете, никто ее не защитит, пусть же она хоть умрет своей смертью. Открыть она не в состоянии. Она, как дикий зверь, укрылась здесь от людей, а злая судьбина и тут ей не дает покоя. Пусть оставят ее в покое и люди и судьба! Она не откроет. Не может. Пусть тот с тем голосом уходит с богом, кто бы он ни был, добрый или злой, из дальних мест или из ближних, пусть

уходит. Ей тоже так отвечали, когда, бывало, прежде на чужбине, в поисках своих, она у дверей от голода и холода, как собака, скулила, выпрашивая подаяния: «Иди с богом».

И она шла. С богом или нет, она от горя не знала, но, коль ей приказывали убираться, она уходила.

Поэтому...

Она все молчит, не откликается, не шевелится, она борется с какой-то силой или чувством, повелевающим ей открыть дверь. «Мавра, Мавра, открой! Мавра, встань! — молит что-то в ней почти с отчаянием, стараясь ее образумить. — Мавра, отвори!»

Но волосы, как и раньше, встают дыбом, потом она опять слушает, напрягая все свои силы. И вновь она... словно вот-вот лишится сознания, сейчас умрет — поддается кому-то; под окном, как раньше, слышится шарканье чьих-то ног.

«Двое мужчин придут в ее хату, а вслед за ними и смерть», — вдруг молнией пронизывает все ее мысли предсказание карт.

Нет, не открывать — приказывает что-то в ее душе. Она не хочет смерти. Если переживет эту ночь — значит, будет еще жить, а тот *ворог* возле хаты, который замыслил ее погубить, который пришел по ее душу, пусть уходит обратно. В такую ночь добрые люди не ходят. Она это знает. Знает от своих людей, что только по ночам грабили, обирали, злодействовали. О, о, о! Кто столько про зло знает, сколько она!

И опять распластывается змеей у двери.

Вдруг — что это?

До ее слуха доносится из-под двери страшное проклятие, которое потрясает ее до глубины души, пронизывая всю ее холодом, а затем как бы предрекает ей гибель. Еще минута и — тишина. Шарканье ног у двери прекратилось, слова замерли и — все. Даже, кажется, шум леса, отступая перед кем-то, расплывался, стихал.

Мавра обезумела.

В ужасе она закричала не своим голосом и уткнулась лицом в землю...

Когда это было, когда она слышала этот голос? О, когда еще! И это страшное проклятие... Оно теперь донеслось до нее разве что *из-под земли*. А на кого оно па-

дало — того убивало. О, о, о!.. Когда она этот голос слышала? Когда же? Мавра, припомни...

Это хуже, чем смерть.

В ее душе вихрем поднимается ужас воспоминаний, и она содрогается, — не пришел ли ей в самом деле конец? А здесь спасенья ждать неоткуда. Ведь она одна. Одна на всю гору, на весь лес... одна... вот она уже *умирает*. Теперь она знает, чей это был голос. Знает. Это голос ее отца. Голос Андронати, когда он проклинал за непокорность и проступки. *Его* голос.

И тут Мавра раздражается страшным, безумным смехом, каким не смеялся никто в этом одиноком жилье.

Голос ее отца? Откуда?

С того света?

С той поры как родился у нее белый ребенок, как она увидела, что лежит под деревьями, на чужбине, прошло двадцать, а может быть, и больше лет — она уж и сама не помнит. А что случилось тогда с отцом и матерью — этого никто ей не сказал. Она не могла дознаться. Бродила по свету, спрашивала, искала, возвращалась и снова уходила. Изливала душу перед иными, плакала, расспрашивала, но ничего не узнала ни о них, ни о своем несчастном ребенке. Только смерть так стирает следы. Только смерть. И все же это был голос отца. Его дух явился к ней. Мысли тучами роятся в ее растревоженном страхами и воспоминаниями мозгу, она почти не в своем уме.

И все же это был голос ее отца, Андронати. Только он один мог проклинать этим страшным проклятием, которого все как огня боятся. Он один. Отец и мать были в таборе старше всех. Откуда же могло донестись это проклятие, чтобы погубить ее ночной порой? Из-под земли? Когда отец, бывало, проклинает, земля содрогается.

И она уверена, что он явился к ней теперь из-под земли. В такую темную бурную полночь он мог явиться только из-под земли. Его душа явилась, чтобы предсказать ей смерть. Три раза просился к ней, три раза она не откликнулась. И за то, что не вышла и не впустила его, он ее проклял...

Отцовский голос. Голос замогильный, страшный, охрипший, глухой, зловещий. Она *виновата!*.. Почему не открыла?

Ее губы кривятся.

Кому открывать?

Ведь была полночь, а в полночь бродят только разбойники или мертвецы.

...И терзается Мавра, лежа на полу, стонет, поминает имя господне. Молится... А что, если ее отец жив, — внезапно вспыхивает у нее мысль, — и вот, бродя по миру, наткнулся он неожиданно на ее жилище, а она не впустила его... О боже... не дай, чтобы так это было и чтобы она отца своего не впустила. Но... — продолжает терзать ее мысль... — это могло так быть. Он брел, как бредут все бедняки... брел наугад, не зная, что его ждет. Кто еще так скитается, как цыгане? Заблудился, замерз и попросился к огню, в теплую хату. Просил, молил... О, о, о! Мавра, ты не впустила, может, отца своего, а у тебя на душе и без того не мало грехов. Ты виновата! А как боролась с собой, как что-то поднимало ее руки, умоляло открыть дверь — и однако... страх перед смертью превозмог. Не могла, боялась.

Мавра еще долго прислушивалась, дрожа всем телом. Не вернется ли? Но ничего больше не услышала. Тишина, только тишина вокруг. Лишь в монотонном шуме деревьев различался доносившийся откуда-то из лесу глухой, протяжный, напоминающий о голоде волчий вой. И больше ничего. Огонь в печи едва мерцал, точно подмигивая темноте в хатенке, где царил мертвая тишина...

Мавра не поднималась со своего места у порога, она все чего-то страшилась и осталась там, где лежала.

Взбудораженная страхом и мыслями об отце, она мучилась чуть не до самого утра.

Ранехонько утром, чуть только в лесу засерело, она поднялась и выглянула из хаты. Перед дверью и под окном на наметенном к стене снегу виднелись свежие, большие, беспорядочные человеческие следы, которые затем терялись, уходя в направлении к соседнему селу.

Мавра возвратилась в хату. Она не могла отделаться от чувства, что совершила что-то очень плохое, не открыв двери. Теперь, днем, она поняла, что голос, который ее так испугал и так напоминал отцовский, не мог исходить от покойника, а принадлежал, конечно, живому. Теперь она это наверняка знает. Большие, неровные, свидетельствующие о полном отчаянии, человеческие следы были здесь, около ее хаты. А после того, как она не открыла несчастному, они терялись в глубине леса и, может статься, даже шли прямо навстречу волкам.

Возвратясь в хату, она снова растопила печь. Что было ей делать? Прежде всего она принялась гадать на кукурузных зернах. Случившееся ночью было к добру или к худу?

Гаданье не выходило.

Зерна не падали парами. Как ни смешает, сколько раз ни бросит, а все не ложатся парами. Все нечет...

Мавра призадумалась.

Она оеознавала, что поступила дурно, не впустив человека к себе в хату, из-за этого будет беда...

Каждое погожее воскресенье Тетяна, нарядно одетая, ходит к своей старой приятельнице Мавре на Чабаницу, в лес, к оврагу.

Так было и в это воскресенье.

Сорвав с грядки два больших красных мака и украсив ими волосы, она, с золотыми полумесяцами в ушах, подаренными ей когда-то Маврой, за что с детства ее в селе прозвали «туркиней», — выглядела красавицей. Так и пошла.

Очутившись, наконец, у Мавриной хаты и убедившись в том, что дверь снаружи старательно приперта, она догадалась, что Мавра ушла либо в соседнее село, либо, как это бывало с ней очень часто, искала по лесу волшебное зелье. Ждать ее возвращения было бесполезно, так как, уходя за травами, она порой отсутствовала целый день.

Тетяна пошла белой тропинкой дальше, в надежде, что, может быть, встретит старуху по дороге. Идя вдоль пастбища, принадлежащего ее матери, она, любящая, заглядывала в глубокий овраг справа от нее, по дну которого бежал веселый поток, оживляя собой всю молчаливую долину и отделяя, будто серебряной лентой, Чабаницу от соседней крутой, покрытой лесом горы.

Как уже было сказано, справа — овраг-пропасть, с шумным потоком на дне; слева — Чабаница; а ее опоясывает белая тропинка. Она то расширяется — и местами можно пройти рядом двоим-троим, то сужается и тянется тонкой змейкой, как позволяет место над обрывом.

Тетяна любит сюда ходить. По эту сторону Чабаницы — замечательное эхо: крикнешь что-нибудь, и эхо отзо-

вется, как живой человек. Порой, хотя и очень редко, проходят здесь знакомые ее и ее матери. Конечно, совсем посторонним сюда нельзя. Тетяна знает здесь каждое дерево, знает цветы, знает, где растут самые красивые травы, где, в каких местах больше всего земляники и малины, как пройти, чтобы скорее добраться до Белого камня, откуда видны, как на ладони, соседние села, и каким путем к ним быстрее дойти. Она тут все знает.

И вот она уже спустилась с вершины Чабаницы, оглядываясь по сторонам, — идет и не очень притом торопится, как вдруг ее заставляет поспешить четкий топот конских копыт. Удивленная, вышла Тетяна из-под пихт на белую тропинку, спрашивая себя, кто бы это мог ехать здесь на лошади... и остановилась. Навстречу ей по белой тропинке ехал шагом на черном, как смоль, густогривом коне Гриць из села Третивки. Увидев вышедшую из леса девушку с большими красными цветами в волосах, удивленную его появлением не меньше его самого, Гриць остановился, так же как и она, и оба они молча с минуту глядели друг на друга.

Он опомнился первым. Снял шляпу и поздоровался.

Она ответила, не двигаясь с места и глядя на него лучистыми глазами, с высоко поднятыми от неожиданности и изумления черными бровями.

— Дальше пойдешь? — спросил Гриць и с этими словами соскочил с коня, сам не зная почему.

— Нет, — ответила она спокойно, равнодушно, а затем добавила: — Объезжай меня.

— Обехать тебя? — спросил он и окинул ее взглядом, исполненным удивления и вместе с тем какой-то безмолвной почтительности.

— Да. Объезжай меня. Я не пойду дальше. Я должна ждать здесь.

— Почему должна ты ждать?

— Да так уж.

— Кого-нибудь ждешь?

— Сегодня уж едва ли. Пойду потом домой.

— Да разве ты тут всегда ждешь?

— Еще чего! — ответила она нетерпеливо. — Сегодня так случилось. Хотела одну женщину тут встретить и не встретила.

— И вместо женщины встретила меня, — добавил он, слегка улынувшись, ни на миг не отрывая взгляда от ее черных дугообразных бровей.

— Объезжай меня! — ответила она по-прежнему спокойно, но с какой-то скрытой просьбой в голосе: — Объезжай меня!

— Да почему?

— Да так уж.

— Не хочешь мне дорогу уступить? — спросил он.

— Не знаю. А может, и потому, да все это пустое, — прибавила она затем пренебрежительно и сама сошла с дороги.

— Ты кто? — спрашивает он, только теперь заметив ее золотые полумесяцы-серьги, которые при каждом движении головы чуть покачивались и словно подчеркивали своим золотым блеском ее красоту.

Она отвечает не сразу и, подняв высоко брови, смотрит, как ему кажется, высокомерно.

— Из какого ты села? — продолжает он спрашивать и подходит к ней ближе, так как видит, что она хочет не то отвернуться от него, не то ускользнуть обратно в лес.

— погоди! — просит он и хватает ее за руку.

— Зачем? — спрашивает она нетерпеливо.

— Скажи, как тебя зовут?

— Я Туркия, — отвечает она и погружает свой взгляд в его прекрасные, голубые, как небо, глаза, которые ее чем-то слегка смущают.

— Туркия? — повторяет он с удивлением, так как никогда ни о какой Туркине не слышал.

— Туркия, — повторяет она совершенно спокойно и отворачивается, не выдержав его пронизывающего насквозь, любопытного взгляда.

— погоди, прекрасная Туркия, — говорит он и обнимает ее, будто повинуюсь какому-то внутреннему велению. Она выскальзывает из его объятий и опять поднимает вверх брови.

— Не знаешь меня, а пристаешь, — говорит она сухо и отстраняет его от себя спокойным, но вместе с тем решительным движением. — Думаешь, я здесь для всякого? Нет, я не для всякого. Говорю тебе: я не для всякого.

Он стал серьезнее.

— Я вижу, ты красивая, как русалка, а красивых дивчат я люблю.

— Это нехитрая штука.

— И тебя я любил бы.

— Попытайся. Думаешь, скажу: я для всякого? Я не для всякого.

— Но может статься, для меня? — произносит он с покорностью и вдруг кланяется ей низко, до самой земли, придерживая шляпу обеими руками.

— Тогда люби! — отвечает она, как и раньше, спокойно и, окинув его сияющим встревоженным взглядом, делает несколько шагов вперед.

— А вот ты идешь дальше, — затрагивает он ее опять.

— А почему бы и нет? Долго на одном месте не стоит никто.

Он молча идет с ней рядом, глядит на нее, почти такую же рослую, как и он, и затем спрашивает:

— Твои родители турки?

— Нет, — отвечает она.

— А где ваша хата?

— Где я живу? А вот, видишь, я в лесу, и вообще... — и, не закончив, сделала широкий жест.

— Где-то здесь, в лесу? — спрашивает он, не поняв ее жеста.

— Нет, — отвечает она и вдруг смеется таким искренним порывистым смехом, которого, казалось, он никогда до сих пор не слышал.

Но тут дала знать себя его строптивая натура, он обиделся:

— Чего смеешься?

— Потому что ты дурень!

Он вспыхнул и остановился.

— Ты-ы! — говорит он с загоревшимся взглядом и грозит ей пальцем. — Ты думай, милая, прежде чем говорить, не такой уж я дурак, каким ты меня считаешь.

Она вскидывает гордо голову, поднимает черные брови, словно мерит его глазами с головы до ног, и произносит, растягивая, с необычайным пренебрежением:

— Ишь ты?

Тут он вскипел.

— Ты! — и в его голосе и глазах мелькнула угроза. — Скажи только еще раз такое слово, и мигом увидишь, каков этот дурень!

— Ишь ты! — отвечает она снова и подходит к нему вплотную.

Он с горящими глазами поднимает руку, а она молниеносно наклоняется к его лицу. Ее глаза лукаво прищурены, а губы улыбаются.

— Ты дурень! — повторяет она игривым голосом. — Ты дурень, а я, знай это, Туркия!

Он остоленел.

— Чертовка! — отвечает он в сильном волнении, внезапно охватившем его. — Чертовка! Будь ты даже турком, но если ты попадешься в мои руки, живой не уйдешь. Ты знаешь, кто я такой? Я Гриць с венгерской границы, сын богача!

— Ишь ты! — отвечает она и мерит его и глазами, и черными бровями, и, кажется, всей своей высокой, гибкой, влекущей фигурой сверху вниз.

Гриць сплюнул. Взволнованный, он не замечает упрямой складки, играющей у ее губ.

— Ты такая смелая, что не боишься никого?

— Кого мне бояться?

— И таких, как я, не боишься?

— И таких, как ты, не боюсь.

— Тогда посмотри, что могут такие, как я, — он указал молча на своего красивого коня, — а ну, смотри!

Он повернулся, поднял коня, как собачонку, за передние ноги и держал его в таком положении с добрую минуту.

— Видишь, какой я сильный? — спросил он.

— Вижу. Только что мне до этого?

— Все на селе знают, какой я сильный, все боятся, а я никого не боюсь.

— Я тебя не спрашиваю, — отвечает она и с необычайно гордым видом твердым шагом проходит мимо него и его коня.

— Я сын богача... — добавляет он гордо.

— А я Туркия...

— У моего отца полонины и табун лошадей, сотни овец, много рогатого скота, а сколько еще другого добра! — почти певуче заканчивает он и присвистывает.

— Разве я тебя спрашиваю? — отвечает она опять.

— Ты какая-то... черт знает кто! — сердится он.

— Моя мать богата, — говорит она, — полонины самые лучшие здесь, на Чабанице, лошади, овцы, скот... Полотна уж и не знаю сколько кусков, а я — знай ты это, сын богача с венгерской границы, — я Туркия. Понимаешь?

Гриць снова присвистнул.

— По лесу ходит, выжидает кого-то, сама не знает кого, как дура, — прибавил он презрительно и тут же осекся.

— И встречает дураков, — закончила она спокойно, поднимая снова брови и глядя ему прямехонько в глаза.

Он рассмеялся.

— Ишь какая, турецким умом перекормленная! — сказал он.

— Уж такая, какая уродилась, какой меня видишь. Я тебе сказала: объезжай меня. Зачем приставал? Я не для первого встречного.

— А если я вот тут же, на этом самом месте, побью тебя? — спросил он и заглянул в ее белое прекрасное лицо пронизывающим взглядом.

— Меня еще никогда не били, — отвечает она неожиданно грустно. — Ты был бы первым, но также и последним, кто сделал бы это. Не хочешь ли попробовать? Бей! Будет потом чем хвастать, вот как недавно — лошастью.

Гриць не слышит ее последних слов, покручивает у себя наизусть взгляд на нее. И она тоже смотрит на него, но совершенно спокойно, без всякого волнения. Смотрит и задумывается. Проходит некоторое время, однако никто из них не говорит о том, что они таят в себе, что вспыхнуло вдруг меж ними и сковывает им уста.

Тетяну охватывает какая-то болезненная грусть о том, что пережитом, он тоже взволнован.

Вдруг она говорит.

— Ступай с богом своей дорогой, я из-за тебя опоздаю.

Он застывает на месте, смотрит на нее своими большими, ясными, как небо, голубыми глазами. Смотрит, и хотелось бы ему еще что-то сказать, но боится ее. Такая она красивая и какая-то особенная. Он смущается. Никогда еще не встречал такую. Откуда вдруг такая взялась? Господи!

Наконец, решается.

— Ты любишь кого-нибудь? — спрашивает робко.

— Я не люблю никого, — говорит она спокойно, глядя, как прежде, ему доверчиво прямо в глаза, несколько удивленная его вопросом. Потом прибавляет: — А ты любишь кого-нибудь?

— И я не люблю никого, — отвечает он и, будто преисполненный на минуту ее искренностью, отвечает таким же доверчивым, прямым взглядом.

— Твоя воля, — говорит она и снова прибавляет степенно: — Ступай с богом своей дорогой, а то я из-за тебя только опоздаю.

Он помрачнел. Последние ее слова очень больно задел его.

— Зачем тебе торопиться?

— А зачем с тобой стоять?

Он стиснул зубы, но продолжал стоять на месте.

— Так как же тебя зовут? — не может он удержаться, чтобы не спросить еще раз.

— Я уже сказала. Ты не догадываешься сам?

— Ничего ты не сказала, и ни о чем я не догадываюсь!

— Туркия! — и отворачивается; наклонившись поднимает выпавший из его рук повод, на который наступил вороной конь. Поднимает и забрасывает его уверенным движением на гриву.

— Смотри лучше за своей лошастью, — говорит она и, не проронив ни слова, раздвигает густые ветки пихты — и исчезает...

Он стоял, словно пораженный громом, и смотрел ей вслед.

Куда она девалась? Куда ушла? Слово привороту дала ему и исчезла, как ветер...

Его конь нагнул голову и чуть коснулся лежащего на земле красного мака. Гриць сердито, почти ревниво, оттолкнул голову лошади, поднял красный цветок с земли, осмотрел его и, заткнув за шляпу, поехал обратно.

* * *

В следующее воскресенье заплетает Татьяна задумчиво черные шелковые волосы и, как неделю назад, опять украшает себя красными маками и направляется к Мавре.

Идет задумчивая, грустная, а в сердце у нее образ Гриця. У Татьяны нет других мыслей, как только о нем. Она обдумывает снова и снова то, о чем они говорили, что говорил он, а его образ неотступно стоит перед ее глазами.

Идя по лесу, пугливо озирается, хотя знает, что на этой тропинке второй раз его не встретит. Эта тропинка находится во владениях ее матери, и пользуются ею очень редко, да и то лишь хорошо знакомые, которым это разрешено. Вот поэтому-то Татьяна почти уверена, что его не встретит.

Сегодня она идет к Мавре. День такой тихий, спокойный! Густые пихты лениво млеют в легнем зное, их будто уж вовсе разморило от жары.

Может быть, сегодня Мавра окажется дома. Хорошо было бы. Ей хочется поговорить с Маврой; хотя говорить о том, кого она встретила в лесу, Тетяня ни за что на свете не станет. А к Мавре ей не скоро доведется прийти. Мать, похоже, что-то косо стала поглядывать на то, что Тетяня каждое воскресенье ходит к Мавре. Запрещать ей будто и не запрещает, но Тетяня и без слов хорошо понимает свою мать. Наконец, Тетяня останавливается возле колыбы. Она заперта.

Тетяня задумывается на мгновение, а потом звонко кричит:

— Ты дома?

— Гай, гай... — протяжно доносится откуда-то голос Мавры, и Тетяня идет на него.

Шагах в четырех от хатенки на самом краю обрыва пропасти, на земле, на солнцепеке, лежит старая цыганка, попыхивает своей трубкой, полеживает, опершись на локти...

— Что это ты, Мавра, — окликает ее Тетяня, — спряталась здесь, греешься на солнце, как ящерица, а хату заперла, будто от разбойников? — спрашивает юная Тетяня, но самой ей, по правде сказать, почему-то неловко стоять сейчас перед старой цыганкой, которая своими черными сверкающими глазами, кажется, всю душу у человека по капле бы выпила.

Мавра, не изменив ни на мгновение своей позы и словно не обращая внимания на слова молодой девушки, смотрит на нее сверкающими, точно сатанинскими, глазами и вместо ответа спрашивает:

— Ты ради кого это украшаешься каждое воскресенье красными цветами, неужто ради старой Мавры? А? Ишь ты какая красивая да нарядная, словно боярыня. Гай, гай!

Тетяня сгорает от смущения под ее взглядом, но отвечает откровенно:

— Для тебя, Мавра. Для кого же еще? Сегодня воскресенье. Ну, подымись-ка. Сядем туда, в тень, под пихту, хватит мне на солнце жариться, и без того потом облилась, пока на гору взбиралась, на солнцепеке сидеть не хочу. И отчего ты на самый край пропасти полезла? Не боишься, что когда-нибудь сонная скатишься на дно?

Цыганка оскалила белые зубы.

— Не боюсь... И заснуть не засну и скатиться не ска-

чусь. Разве хищник какой с синего неба кинется на Мавру и унесет авысь. Да и того не боюсь, ведь хищник-то, разглядевши, что Мавра стара, выпустит ее поскорее из своих когтей, — значит, нечего ей бояться... даже и этой самой пропасти. А коли хочешь знать, почему я аж сюда прячусь, замкнув среди бела дня хату, будто от разбойников, так я ведь и впрямь от разбойников хоронюсь: нынче ранехонько, когда я еще только ночку досыпала, проклятушие пастушата сговорились и вдруг накинлись, ну точно настоящие бесенята, на мою хату и как заверещат: «Мавра, татары идут! Давай деньги, Мавра, татары идут!» — и ну молотить изо всех сил в двери и окна, потом подняли хохот на весь лес и сгинули. — Тыфу! Чтоб вам! — выругалась она... — черти безголовые, самый сладкий сон прервали...

Тетяня рассмеялась, представив себе маленьких пастушат, изображавших «татар», и растрепанную Мавру, гонящуюся за ними.

После этого обе молча усаживаются в тень под пихту, и Мавра многословно расспрашивает о здоровье Иванихи Дубихи, о ее хозяйских делах; Тетяня отвечает как-то рассеянно, почти бессознательно прислушиваясь к шуму потока в овраге, и ей со своего места, точно с башни, видно, как он поблескивает на солнце, как оmyвает прозрачно-чистой серебряной водой белые камни, а поднимающаяся стеной крутая, густо поросшая лесом соседняя гора, отделенная оврагом, как раз в это время впитывает лучи заходящего солнца, которые, играя, низвергаются косыми водопадами с горы и, кажется, пронизывают зеленую чашу стройных пихт.

— А вон и вправду хищник, Мавра! — перебивает вдруг девушка многословные Маврины расспросы и указывает на большую птицу, которая не очень высоко кружила над ними, будто выбирая среди верхушек пихт наиболее удобное для себя место...

Мавра взглянула в ясное синее небо.

— Он над тобою кружит, доченька, — говорит она вешним голосом. — Нынче воскресенье, смотри, чтоб через неделю ты не приглянулась какому-нибудь хищнику-хлопцу, не запуталась бы в его сетях навсегда, — говорит и скалит опять белые зубы.

Тетяня вспыхнула.

— Я на танцы редко когда хожу, Мавра. Ты знаешь, мама не пускает никуда, если не может сама со мною

пойти. У нас как в монастыре. В нашем доме тихо, только святые иконы да мы.

— Придет время, выйдешь замуж, — отвечает Мавра, — для чего тебе и ходить? Пусть те ходят, у кого ничего нет и кто на танцах своей доли ищет. А к таким, как ты, люди сами в хату приходят. Твоя мать хорошо знает, что и как делать. Второй такой Иванихи Дубихи в селе нет. А горе мыкать, беду-нужду знать — не таким, как ты, дитятко. Этой осенью ожидай сватов. Мне мать говорила, что опять там кто-то добивается.

Тетяня не отвечала. Она уже несколько раз слышала это от Мавры, и так как ей все равно, придут сваты или нет, то и на этот раз оставила без ответа слова своей старой приятельницы.

— А вот скажи по правде, — спрашивает старуха, — не пришел ли тебе кто по сердцу? Не полюбила?

— Нет, Мавра, — сухо отвечает Тетяня и говорит правду.

Она действительно не любит никого. Не любит ни одного из тех, кого давно знает.

— Только у тебя счастья и покоя, пока никого не любишь, — подхватывает Мавра, — полюбив, одной ногой ступаешь словно в рай, а другой — в пекло.

— Не знаю, — говорит тихо Тетяня и, широко раскрыв глаза и подняв черные брови, с любопытством смотрит прямо перед собой и ничего не видит. Склон горы напротив, поросший снизу доверху пихтами, как и прежде, пронизан косыми лучами солнца и кажется точно таким же, как и раньше. И больше ничего.

— Не знаешь, душенька, — подтверждает Мавра, — правда, не знаешь. Но зато я знаю. — При этом она загадочно усмехается, и не поймешь, что у нее на уме.

А Тетяня глядит на нее ясными, лучистыми, как звезды, глазами и словно всем существом своим соглашается заранее с тем, что скажет сейчас старая няня.

— Любовь — это вот что, — произносит вдруг Мавра и, выпрямившись, подобрав под себя ноги, наклоняется к Тетяне, словно собирается открыть ей большую-пребольшую тайну. — Вот что, — повторяет она, — ты встретишься с ним *раз* и второй, и третий, а может, и больше, я не знаю. Это кому какое время суждено. Потом когда-нибудь ни с того ни с сего почувствуешь его возле себя, он приближается к тебе, и ты чувствуешь, что он уже и поцеловал тебя. Вот так первый раз, и второй, и третий. Он, Тетяня,

тебя *любит*. Ты, Тетяня, *его любишь*... и почему ты не станешь ему верить, если он тебя любит? — И тут Мавра начинает хохотать так, что мороз по коже пробегает.

Тетяня побледила, не появив старухи.

— Но бывает и так, что он тебя после всего этого бросит, — продолжает цыганка, зажмуривая глаза, — потому как у него уже есть другая, а то, может, у него было и две до тебя, — значит...

— О, о, о! — вдруг прерывает ее болезненным стоном Тетяня и, сжав губы, с трудом переводит дыхание. Она смотрит на старуху умоляющими глазами, складывает руки, как для молитвы, и, онемев, застывает.

— Не жди милосердия, доченька! — говорит, подчеркивая каждое слово, Мавра. — Милосердия нет ни у кого на свете, а особенно у тех, кто так поступает. Да и... на что оно тебе? Оно тебе уж ни к чему. *Разве только*, когда ты после всего этого бродишь по миру, мыкаешься от хаты к хате, но это уже другое «милосердие»... Господи боже! сохрани нас от того, чтоб мы в нем нуждались. Так-то оно, доченька.

Все это пережила Мавра.

У нее был муж, атаман цыган и разбойников, Лукач Раду, злой, как волк, хитрый, как лиса, и красивый, как бояр. Да что из того? Однажды она плясала в пусте, неподалеку от маленького мадьярского городка, перед какими-то господами, которые нарочно приехали в пусту поглядеть на цыганский табор и на цыган, и заработала этим деньги.

— Ты плясала, Мавра? — спрашивает удивленно девушка, ибо впервые слышит это от старухи.

— Плясала, доченька. Да как еще плясала, и все больше вокруг костра, особенно когда к нам приходили господа и расспрашивали про наше житье и обычаи. Отец играл на скрипке, другие на цимбалах, а я плясала. Боже, как играл старый Андронати! — И при этих словах Мавра, словно от изумления, даже закачала головой. — Потом один из панов, красивый и молодой бояр, попросил, чтоб я и в городок приходила гадать и плясать. И я несколько раз ходила туда — когда с отцом, а когда и с мужем. Там встретила я того красивого молодого бояра еще раз. Он бросил Раду деньги за танец, а мне за гаданье, и Раду, жадный к золоту, давай и дальше меня на такие заработки посылать. Когда я шла с ним, то плясала, а когда одна — тогда только гадала. И хоть мне не всегда хотелось идти,

но из страха перед Раду я должна была ходить. Так встретила я с этим богатым бояром и второй, и третий, и четвертый раз, пока он не стал украдкой целовать мои глаза, ласкать меня и называть Мавру своей черной звездой, — пока не обезумела она от любви... Доченька! — сказала вдруг предостерегающе Мавра побелевшей как снег девушке. — Я была молодая, красивая и глупая, а он — богач, прекрасный, словно месяц на небе, носился на коне, как ветер, и почему было мне его не любить, если он, пан, не брезговал прижимать к своему сердцу бедную цыганку, называть своей звездой, целовать и ласкать?.. Доченька! Кто видел такую любовь, настоящую, искреннюю и такую пылкую, как видела молодая Мавра, тот... господи боже, смилуйся над бедной женщиной, которая все-таки согрешила, — застонала Мавра и, упав ничком на землю, смолкла. — Потом, — продолжала она спустя несколько минут, подавив волнение, — потом, когда я плакала и жаловалась ему на свою беду, дрожа от страха перед тем, что будет, а еще больше перед карой со стороны Раду, которая должна была меня постигнуть, — ведь я же согрешила, — он пожал плечами, бросив мне в лицо, что сама я виновата, и, вдруг свистнув, будто собаке, вышел из комнаты... Хоть я — бедная цыганка, доченька, — тянула старуха, — на кого порой и собак натравливают, а он гордый пан, который целовал и ласкал меня, и хоть я многое позабыла из того, что меня с той поры постигло, но этого свиста, какой достался мне от него напоследок в награду за мою любовь, я никогда не забуду. Никогда!.. Я его прокляла. Да что из этого? — спросила она горько. — Он остался паном, а я... потеряла свое счастье навсегда... по нынешний день. Доченька моя прекрасная... — продолжала она снова, предостерегая Тетяну, — доченька моя чудесная, берегись любви! Говорю тебе это еще раз. Думаешь, кара его постигла? — спрашивает Мавра и терзает сердце девушки своими дьявольскими глазами. — Кара постигла не его, а только меня одну. Раду и цыганы из-за ребенка меня бросили, ребенка убили, а может, и украли, родные покинули меня, и я, как подстреленный зверь, очутилась в вашем лесу. Святое дерево, вот это, — произнесла она необычайно набожно, указывая на пихту, — уберегло меня от смерти, привело сюда твою мать и сохраняет мне жизнь доныне. Кабы не оно, от Мавры давно бы и следа не осталось. Вот до чего доводит

любовь, дитятко, — вернулась цыганка к началу своего разговора, — вот до чего доводит. И это — любовь.

— Да что толковать! — добавила она почти с отчаянием в голосе. — Что об этом толковать. Это знают все. Я тоже знала, что нужно беречься беды... ведь я уже была женой Раду, а между тем... — Она не досказала и поглядела куда-то вдаль таким несказанно-грустным взглядом, что Тетяну охватила жалость.

— Люби, Тетянка, искренне, если любовь тебе суждена, — произнесла она потом предостерегающе, будто очнувшись от своих тяжелых воспоминаний, — только не люби за спиной матери и не люби сразу двоих. Кроме того, берегись одного, доченька... одного.

— Чего? — спросила чуть слышно Тетяна и снова побледнела.

— Бойся... остерегайся... — ответила цыганка, — чтобы не дожить до свиста...

В глазах Тетяны вдруг сверкнуло что-то гордое и сильное, такое пылкое и неприступное, что Мавра оторопела. Ее удивление стало еще больше, когда Тетяна, не говоря ни слова, внезапно поднялась и, выпрямившись, стройная, как молодая пихта, сказала:

— Не свистнет, Мавра, не бойся. Мне «не свистнет» никто. — И, подымая высоко свои черные брови, повторила: — Не свистнет.

— Да хранит тебя господь от этого, — поддакнула Мавра, заметив странное волнение девушки. — Да хранит тебя...

— Да хранит, — повторила на этот раз и Тетяна и крепко сжала губы.

Мавра улыбнулась и, став на колени, обняла девушку и нежно усадила ее на прежнее место, рядом с собой.

— Да хранит.

Тетяна замолчала, словно лишилась дара речи. Она не могла произнести больше ни слова. У нее кружилась голова. Воспоминания о прошлом воскресенье оживали в ее душе, но она тут же подавляла их всей силой своей гордости. Молчала, не хотела о них говорить. Лучше с этой тайной скатиться вон в ту пропасть, чем выдать ее кому-нибудь хоть одним словом. Не хотела — не могла.

— А такой был прекрасный и гордый, — начала снова Мавра, возвращаясь к своему прошлому, — точно месяц на небе. Пан был, вот что! Росту высокого, волосы темные,

глаза голубые, как небо, гордые и правдивые, — господи, какие же правдивые! Усы, как шелк, гай, гай!

— Мавра! — вскрикнула вдруг девушка, словно вернувшись из другого мира. — Мавра! — и смолкла...

Мавра с любопытством взглянула на девушку, однако Татьяна молчала. Она была только очень бледна, ее широко открытые глаза блестели, как две черные звезды, а краешки маки у самого лица слегка дрожали.

— А вон твой хищник, — произнесла старуха и указала на ястреба, который и в самом деле, отдохнув с минутку на верхушке какого-то дерева, как раз в это время поднялся ввысь и полетел.

— Он с той стороны, — отвечает как-то рассеянно, в задумчивости, Татьяна и медленно встает.

— С той стороны.

— Я, пожалуй, пойду, Мавра, — говорит девушка. — Солнце зашло. Пока домой дойду — стемнеет.

— Иди и приходи к Мавре, — просит старуха и тоже поднимается, чтобы проводить девушку, пройти с ней хоть несколько шагов. — А в следующий раз, — добавляет она, — рас кажи уж ты что-нибудь, и пусть твое будет лучше моего.

Татьяна не ответила. Точно испугнутая серна, с непонятным чувством тяжелой тоски в душе метнулась она через лес, в долину — и скоро очутилась дома.

* * *

Наступило еще одно воскресенье, и Татьяна опять идет по лесу, заглянув, как обычно, на часок к Мавре. Расставшись с матерью, которая на этот раз тоже заходила к старухе по делам, Татьяна пошла дальше тропинкой одна. Но, не встретив никого, стала взбираться на Чабаницу и оказалась неподалеку от Белого камня-великана.

Отдохнув там как следует, она стала медленно спускаться с Чабаницы.

Спускаясь, вдруг заметила на проселочной дороге, по которой когда-то нес старый Андронати своего белого внука и которая вела в село Третивку и тянулась дальше мимо Чабаницы с ее белой тропинкой, всадника, в ком с первого взгляда узнала Гриця с венгерской границы.

Но только ли ее глаза увидели его? Гриць тоже увидел

своим молодым острым оком девичью фигуру, спускавшуюся легким и плавным шагом с горы.

Он пустил во всю прыть коня и полетел как орел.

О, она прекрасно узнает его, но боится встретиться с ним. *Хотела бы, но боится чего-то.* Торопится спуститься, сбежать вниз, к матери, но чувствует, что уже поздно. Он уже узнал ее, увидел своим зорким оком.

Погнал коня во всю мочь, и вот он уже на белой тропинке. На опушке, повыше тропинки, привязывает коня к дереву, а сам спешит в гору, к ней.

Что ей делать? Бежать еще быстрее вниз? — спрашивает ее сердце. Спрятаться где-нибудь в лесу?.. Не успеет. Лес начинается немного ниже, а она сейчас на лугу, где лишь недавно скошено сено, и он уже видит ее. И он торопится. К тому же он мог бы подумать, что она его боится. А она не то что и в самом деле его боится, ей *почему-то не по себе*. Она ведь никого не боится. Так она сказала ему, а что она однажды сказала — того менять уже не станет.

Остановилась под Белым камнем, закинула руки за голову и смотрит вниз, как он торопливо поднимается к ней.

Он спешит, идет быстрым шагом в гору, а она стоит, словно на углях, злясь на себя за то, что слишком поздно заметила его и уже не может спрятаться.

— Подожди, я иду! — кричит он ей и вот-вот окажется рядом.

Она стоит и молчит, хотя ей некогда: там, внизу, у Мавры, ждет ее мать, а она гляди как попалась!

И вот, наконец, он рядом.

— Туркия! — кричит он радостно и окидывает ее возбужденным, сверкающим взглядом, с трудом переводя дыхание от быстрого подъема на гору.

— Туркия, — отвечает она ему и в свою очередь окидывает его взглядом. Но почему-то становится бледной-бледной.

— Ага, опять украсилась цветами, как тогда, и какая же красивая! — говорит он, не зная, что сказать. Потом добавляет: — Не обрывай весь мак, не останется на будущий год на семена.

— Мне цветы к лицу, — отвечает она спокойно и продолжает стоять перед ним не двигаясь.

Он смолкает от удивления.

Она так высоко на Чабанице, совершенно одна, одна-

одинешенька, чуть ли не на всю округу, а спокойна, точно каменная. Не боится.

«Эй, Туркия, Туркия, в чем твоя сила?» — едва не срывается у него с языка, но он молчит. Потом спрашивает:

— Теперь скажи, чья ты дочка? — И он словно хочет показать всем своим видом, что сейчас он господин над нею.

— Спроси-ка еще раз... может, и скажу.

— Но только запомни, — говорит он угрожающе, — с *Грицем* ты не шути.

— Я тебя не звала, — отвечает она. — Ступай обратно. Я тоже уйду.

В нем начинает закипать злость. Он цедит сквозь зубы проклятие.

— А ты кто такой? — спрашивает она, не спуская с него глаз.

— Я сын богача, — отвечает он. — Говорил уж тебе, самого большого на всей горе.

— Бо-га-ач? — спрашивает она протяжно и поднимает высоко брови.

Богач словно бы удивлен.

— Богач, — шептит он объяснить ей тоном, которым бессознательно старается снискать ее расположение.

— А я не твоя батрачка, — отвечает она гордо и, опустив глаза, медленно, уверенным шагом спускается в долину.

— Я же не говорю, что ты батрачка, — отзывается он с той же, что и в первую встречу, покорностью в голосе.

— Тогда почему ты проклинаешь меня?

— Потому что ты насмехаешься надо мной.

— Нет, — говорит она и, ни на минуту не задерживаясь, ровным шагом спускается с горы.

— Вынь свои цветы из волос и дай их мне! — не то просит, не то приказывает он и вызывающим видом преграждает ей путь.

Она останавливается и глядит на него, удивленно подняв брови.

— Ты разве не видишь, что они мне к лицу? — спрашивает она.

Он сквозь зубы:

— Вижу.

— Ты что с ними сделаешь? Украсишь голову, как я?

— Заткну за шляпу.

Она молча усмехнулась.

У тропинки заржал конь.

— Твой конь зовет тебя, — спокойно говорит она. — Спускайся скорей. Я тоже тороплюсь.

— И конь подождет, и ты подождешь, — отвечает он повелительно, почти свирепо.

— Конь подождет, а я нет, потому что меня мама ждет, — отвечает она.

— Ты подождешь, — говорит он решительно взволнованным голосом, — чтоб я мог наглядеться на эти твои брови, которые тебе сами черти над глазами нарисовали.

— Гляди, — говорит она и послушно, точно ребенок, становится перед ним и, как раньше, выражает свое удивление одними бровями. А затем, побледнев, вдруг добавляет: — Я тебе сказала, что ты *дурень*! — и хочет идти дальше.

Он снова останавливает ее, бросив на этот раз ей под ноги свою шляпу.

— Гляди! — говорит он. — Мы здесь вдвоем, одни на всю Чабаницу. Тебе что, не страшно? — и в его голосе слышится что-то недоброе.

— Вдвоем *по эту* сторону горы, — отвечает она спокойно.

— По эту, — повторяет он и смотрит на нее испепеляющим взглядом.

— И по ту, — говорит она. — А раньше, когда тебя не было, я была *совсем* одна. Почему же мне с тобой бояться? Говори, что хочешь сказать, поскорей, — добавила она поспешно, — а то в долине мама ждет. Она шутить не любит.

Ее слова действуют на него, как ушат холодной воды, — он успокаивается и с удивлением глядит на нее.

Теперь и она смелее смотрит на него, в его большие голубые глаза, которые словно хранят в своей глубине кусочек неба и влекут к себе своей добротой.

— Почему ты так всегда со мной разговариваешь? — спрашивает он с немой мольбой в голосе и с отчаянием в глазах.

— Потому что ты так спрашиваешь. Не задерживай меня больше. Я тороплюсь!

Он сжимает кулаки.

— А если я вовсе не захочу тебя отпустить?

— Тогда я тебе в десятый раз скажу, что ты *дурень*, и ты меня отпустишь!

Пораженный до глубины души непостижимой твердостью ее характера, чью власть он только теперь начинает чувствовать и которую не может преодолеть, он вдруг уступает ей дорогу и вместе с ней спускается с горы к тропинке.

Они идут рядом.

Молчат. Напряженное, kloкочущее молчание.

Она бледна, как голубка, а у него высоко вздымается грудь, и он весь дрожит.

Спустившись на белую тропинку, он садится, не говоря ни слова, на коня и, не удостоив ее даже взглядом, поворачивает обратно; она также безмолвно, тоже не взглянув на него, исчезает где-то в лесу, — и больше он ее не видит.

Долго, долго не слышит ничего, кроме редкого топота лошадиных копыт, потом затихает и он, и тогда доносится протяжный, тоскливый, просящий голос Гриця:

— *Туркия, придешь?*

И вскоре после этого, будто чистый звон колокольчика, будто звук рассыпающегося жемчуга, долетает до него:

— *Не при-ду!*

И, слабо дрожа в воздухе, словно борясь с тишиной леса, отзывается эхо, проносится в шуме деревьев второй и уже последний раз: «*Не при-ду!*»

* * *

Вернулся домой Гриць, будто отравой опоенный. Не ест, не пьет, не спит; трезвый, а между тем ни за какую работу не берется.

Не может.

И неотступно преследуют его черные глаза, черные брови и два красных мака. Больше он ничего не видит.

Отец, мать бранят, а его это словно и не касается вовсе. Выслушает молча, что заслужил, и скроется с глаз долой, а потом идет на гору к лесу, на широкий луг, где пасутся коровы и лошади. Бросится где-нибудь в траву, да и лежит там. Долго ли коротко ли — он того не замечает. Ему все равно. Вокруг него покой, тишина, мошара кружится на солнце, позвякивают боталами телята, а в воздухе стоит монотонный шелест нхт — и все это ему по сердцу. Больше ему ничего не нужно.

— Разленился наш Гриць вконец, — жалуется мужу хозяйка-мать, и тот после этого вдруг накричит на него.

А Гриць вскипит так, будто в его жилах забурлила застывшая было кровь, взбунтуется против хозяина и огрызается.

— Ну и что ж? Я к вам поденно нанялся? — спрашивает он высокомерно и уходит прочь твердым шагом, чтоб не дошло между ним и отцом до ссоры, чтобы не пришлось снова выслушивать, что он из милости вскормлен, что он неблагодарный и все прочее, что от него только горе да заботы. Он садится на своего черного как смоль коня, которого любит больше, чем людей, и уезжает куда глаза глядят на день-два в горы или за гору, в маленький венгерский городок. Ему безразлично куда, лишь бы с глаз долой.

— Бог знает, чью плоть и кровь мы вскормили нашим хлебом, нашим трудом, — печально раздумывает отец-хозяин. — Ни к работе, ни к хозяйству, только бы бездельничать, чужими руками жар загребать, да командовать. Панская натура... эх-эх-эх! — побряхтывает хозяин и, наконец, умолкает.

— А меж тем все его любят, и черт знает за что; над всей молодежью он в селе верховодит; у дивчат он первый. *Шут его возьми!* Гей, Гриць, Гриць... будущий ты мой хозяин, одумайся, пока есть время, чтобы потом не жалеть...

Так вот и на этот раз.

Гриць лежит на опушке леса, наигрывает на своей длинной свирели протяжные, грустные мелодии, а работа ждет. Запала ему в душу Туркия. Такая она важная, такая гордая... такая... кто она? Он никогда не встречал ее ни в одном селе среди дивчат.

Он ходит еще к Настке, к которой привык. И хоть и скрывает от нее, что творится у него на сердце, — ему хорошо от ее спокойствия, от ее утешений и еще оттого, что она не допытывается, не осуждает, а только любит. Она ласкает его, прижимает к сердцу, он молча поддается ее ласкам, а уходя, разве лишь бросит:

— Спасибо тебе, Настя, за твое доброе сердце; только у меня и хорошего на свете, что одна ты, — когда-нибудь я отблагодарю тебя...

— Ну, ну... — шаловливо грозит она ему и, улыбаясь, добавляет: — Когда другую посватаешь...

Но он еще где-нибудь ее встретит, — утешает он себя мыслью, хотя хорошо помнит, как она отвечала ему в лесу, что «не придет».

«Да, может... — думает он, — может, все-таки еще разок «придет». Тогда, в последний-то раз, бог ее знает, зачем приходила она в лес со своей матерью. И теперь, может, опять придет, найдется какая-нибудь причина. Хоть бы еще раз. Только один раз».

Да не такова натура у Гриця, чтобы долго ждать, печалиться.

Спустя две недели он говорит отцу, что поедет «на минутку» в соседнее село — осмотреть у знакомого захворавшую лошадь, а к вечеру вернется. «Поезжай», — сказал отец, и Гриць поехал.

Долгое время едет он узкой каменистой проселочной дорогой и вдруг видит белую тропинку, которая опоясывает с западной стороны Чабаницу и вливается именно здесь, будто ручей в реку, в проселочную дорогу. Но конь у него умный. Гриць и не правит, а конь сам уже сворачивает с сельской дороги на белую тропинку, поднимается в гору вдоль оврага. Напрягает силы, мчится бойко рысью, будто гордясь своим красивым седоком, а затем замедляет бег. Вот еще проскачет немного, и тропинка скроется в лесу.

Едет, едет и вдруг остановился. Перед ними еще белеет белая тропинка. «Куда ведет она дальше? — спрашивает себя Гриць. — Откуда идет? Кому принадлежит? Он никогда по ней дальше не ездил и как следует не знает ее. Не в третье ли село от ихнего, то есть от Третивки, ведет она? А может, только к чьим-то пастбищам? А может, в том селе, за Чабаницей, и она живет? Эй, Туркия, откликнись, ты там живешь?»

Ну, да все равно. Вот справа, высоко на Чабанице, как раз над белой тропинкой, виднеется тот самый Белый камень-великан, возле которого он видел ее в последний раз. Может, она снова сюда придет. Слева — овраг, пропасть, с этой стороны она не придет. За оврагом — степной соседняя гора, отсюда тоже не придет.

Дальше он не едет. Пожалуй, и незачем, — она была бы уже здесь, непременно была бы!

Чем дальше, тем тропинка уже, да и времени нет. Лучше ее здесь подождать. Привязывает лошадь к дереву, ложится под ним и ждет. Если она выйдет из лесу на белую тропинку, чтобы затем, как в тот раз, изобразиться к

Белому камню, он увидит ее сразу издали. Она будет идти прямо навстречу ему, если не спустится в овраг. А для чего ей туда? Значит, так или иначе он ее заметит.

Конь шиплет траву, а он лежит, прижавшись к земле, поперек тропинки, на самом краю пропасти; лицо его обращено в сторону леса, туда, куда ведет тропинка. Так он должен ее увидеть еще издали, когда она будет спускаться к нему по тропе, точно по ступенькам, из лесу, шаг за шагом. Эй, Туркия!.. Я здесь!

Ждет.

По лесу прошел легкий шум.

Колышутся едва заметно ширококрылые пихты. О чем-то шепчутся, перешептываются — настраиваются на торжественный лад. Кажется, они что-то празднуют... А там, в долине, в пропасти, журчит поток и о чем-то тоже рассказывает...

Гриць пристально разглядывает все вокруг, подстерегает, вглядывается острым молодым взглядом, как ястреб, в самую глубь леса. Долго-долго терпеливо следит, прислушивается, не услышит ли шума чьих-нибудь шагов, и, наконец, ловит слухом то, чего ждал. Из лесу по тропинке, прямо к нему, шагах в двухстах, легко, бесшумно спускается... одна-одинешенька, она.

«Тише!» — словно приказывают всему вокруг деревья и сами лишь едва колыхнутся: она идет.

И в самом деле, шла она.

Она не смотрит ни направо, в пропасть, ни налево, на Чабаницу с ее Белым камнем, ни прямо перед собой, где плашмя поперек тропинки растянулся он, словно змей, — а смотрит лишь себе под ноги. Богато одетая, в шелковой юбке, стан, как тростинка, гибкий и тонкий. А личико среди красных маков, больших маков, а из-под них — золотые сережки-полумесяцы. Туркия.

Он оклинул бы, да бонся. Она сразу же исчезнет. Даже сердце в груди сильно забилося.

Лежит, не шевелится...

Но в конце концов надо же. Он вскакивает на ноги, снимает шляпу и, низко склонившись, почти касаясь шляпой земли, идет так, покорно склоненный, прямо ей навстречу.

— Туркия!

Она увидела его. Скорее, чем полагал, — узнала по коню, сердцем почуяла.

— Ты здесь? — спрашивает она, и брови ее выражают

удивление. Опять такая, как всегда, он это сразу почувствовал.

— Добрый день, Туркия, коли уж ты так себя величаешь,— начинает он и выпрямляется. Может, хоть сегодня будет она другой.

— Я хотела тебя видеть,— говорит она просто и смотрит ему в глаза, но опять почему-то лицо и даже губы ее бледны.

Он упал перед ней, как перед царевной, на колени, кланяется.

— Не кланяйся мне столько раз, с меня хватит и одного поклона. Только моей матери кланяются больше. Ее называют пани.

— А тебя?

— Я — Туркия! У меня вот,— говорит она и показывает на золотые полумесяцы в ушах,— турецкие сережки.

— Кто тебя так окрестил? — спрашивает он.

— Люди в селе. Ты разве не слышал про меня? — спрашивает она.

— Нет.

— Ты не бываешь в нашем селе?

— Был несколько раз, но больше хожу на венгерскую сторону. Был как-то в вашем селе и на престольном празднике, но тебя тогда не видел.

— Откуда ты знаешь? — говорит она и чему-то заранее улыбается.

— Почему ты смеешься?

— А почему бы нет?

Он обиделся.

— Гляди,— говорит он и хмурит брови,— чтобы как-нибудь люди не посмеялись над тобой.

— Надо мной не посмеются,— говорит она уверенно и горделиво.

— Ишь ты! — передразнивает он ее.

Она не обращает внимания.

— А про тебя я, кажется, слышала,— отзывается она погодя,— да только не видела и не знала, как тебя зовут.

— Гриць,— говорит на это он.

— Это ты уже говорил,— отвечает она.— Но наше село большое, и многих так зовут.

— Гриць... Гриць,— твердит он, ударяя себя в грудь.— Тот, за кем все дивчата бегают, кто пляшет так, будто ногами узоры пишет, кто во всем селе лучше всех на трем-

бите играет... тот Гриць. Этой зимой я буду, может, и в вашем селе,— добавил он.— У одного моего товарища там живет дядя, и он передавал, чтоб тот пришел к нему, у дяди на примете для него красивая и добрая дивчина. Тогда гляди...— грозит он и прячет под черным усом улыбку, которая очень красит его.

Она молчаливо поднимает черные свои брови, удивляясь его словам.

— Ничего. Будем любить друг друга.

Она молча слушает, а затем спрашивает:

— Ты тоже посвистываешь тем дивчатам, которых перестаешь любить?

— А что ж,— отвечает он.— Стану плакать? Разве вот по тебе плакал бы — потому ты во какая красивая!

Она подняла на него свои большие глаза и словно бессознательно схватывается за свои красные цветы и, вытаскив их из-за ушей, молча роняет на землю.

— А что делают те, которым ты посвистываешь? — спрашивает она и пылливо впивается в его лицо черными глазами.

— Разве мне их учить? — отвечает он.— У них свой ум, а у меня свой. Меня никто не учит. Неуч я.

— Верно, уходят куда глаза глядят,— задумчиво произносит она вполголоса.

— Не беспокойся о них,— утешает он и, подойдя близко к ней, заглядывает ласково в глаза.

— Мне ты не будешь посвистывать,— отвечает она вдруг твердо, решительно, а в то же время погружает, топит свой взгляд в его глаза.

— Тебе нет,— говорит он убеждающим тоном.— Ты моя ласточка.

— Ты! — вдруг произносит она угрюмо и протягивает отстраняющим жестом руки так, что ее растопыренные пальцы упираются ему в грудь.— Ты!!! — повторяет она еще раз.— Ты знаешь что?

— Знаю,— отвечает он, и глаза его смеются.— Ты прекрасна, как боярыня, и я тебя люблю!

— Ишь ты! — отвечает она.

— Ишь ты? — повторяет он вопросительно, и в его голосе звучит огорчение.— Гей, Туркия, Туркия,— прибавляет он, и в его голосе и глазах чувствуется угроза,— счастье твое, что ты красива, а то...

Она хватается за уши: цветов нет.

— А вон они, на земле,— говорит он почему-то с вне-

запной покорностью, которой старается вызвать ее расположение.

— Сами выпали? — спрашивает она сама себя, не сводя с него глаз.

— Ты, — продолжает он, — так прекрасна, что я люблю только тебя одну.

— О... о... о! — с болезненным стоном наклоняется Тетяна за красными маками.

— Не веришь?

— Чему я должна верить? — спрашивает она и поднимает удивленно черные свои брови.

— Что я тебя одну люблю.

— Меня?

— Тебя.

— И ты тоже красивый, — говорит она просто, — только у меня тяжело на душе.

— Почему? — спрашивает он искренно и обнимает ее. — А вот у меня не тяжело.

Она выскальзывает.

— С тобой мне тяжело.

— Со мной?

— Да. Я пришла тебе сказать, что больше уже не приду.

— Но зато я приду, — отвечает он.

— Куда?

— В любое место, где ты будешь.

— Нет. В любое не придеши.

— Приду, раз говорю.

— И в наш дом?

— И в ваш дом. А где ваш дом?

— У мельницы над рекой. Знаешь?

— *Иванихи Дубихи?* — спрашивает он удивленно. — Да?

— Да. Это моя мать.

— Прегордая пани, — отвечает он и едва сдерживается, чтобы не присвистнуть. — Издали кусает!

— Моя мать богомольная, людям добро делает, любит только правду.

— И что из того? — отвечает он.

— Ничего. И тихо в нашем доме — лишь она, да я, да святые иконы; красиво так и люблю...

— Еще в монашки тебя отдаст, — шутит он.

— Может, и отдаст, если я захочу.

— Если не посватаю.

Она вспыхнула.

— Пойдешь за меня?

— Если захочу, пойду.

— Ишь ты? — передразнивает он ее опять.

— Ишь ты! — откликается она высокомерно в ответ, даже не взглянув на него. И вдруг прибавляет спокойно: — Ступай себе!

— Уйду, когда захочу, ты не прикажешь мне, хоть ты и Дубивна!

— А мне лучше, когда я тебя не вижу, — отвечает она, опустив глаза. И с этими словами поворачивается, уходит.

— Туркия! — кричит он огорченно, умоляюще, и через минуту он уже рядом. — Ласточка!

— Хочешь свистнуть? — спрашивает она и пронизывает его долгим, пытливым, словно предостерегающим взглядом.

— Туркия!

— Уходи! — почти молит она. — Мне тоскливо, мне тяжело. Мне во сто раз лучше, когда я тебя не вижу. Гриць! Уходи, ступай себе! Мне так тяжело... уйди!

— Глупая ты! — отзывается он.

— Думаешь, я неправду говорю? — отвечает она и, приблизив свое бледное лицо, смотрит правдивыми глазами прямо на него. — И не жди меня больше, — добавляет она, — больше я не приду.

— Приходи, приходи, ласточка! — просит он покорно и низко склоняется перед ней. — Приходи и защебечи здесь в лесу, а я буду ждать.

И внезапно, — пока он не заметил, не опомнился, — она быстро повернулась и, ни разу не оглянувшись, раздвинула ветви пихт, порхнула между ними, как птичка, и исчезла... будто ее и не было.

Он почему-то не посмел последовать за ней. Вспомнил пани, ее мать, не захотел ее сердить и остался там, где стоял. Потом подошел к коню, обнял его, как друга, вздохнул, подождал с минуту и, не долго думая, протяжно свистнул...

Прислушался.

Легкий, легчайший, еле слышный шум колеблет воздух, призывает к молчанию...

Все молчит, выжидает.

«Не при-ду!» — вдруг долетает до него откуда-то с горы трепещущий милый голос. А вслед за ним отчетливо

откликнулось за оврагом, с противоположной скалистой стены, замирающее: «Не при-ду!»

Сбежала к себе домой, в долину, запыхавшаяся, взволнованная, упала перед святыми иконами и молится. «Господи, тяжело мне, — жалуется, вся сжавшись, словно сдерживаясь от рыданий. — Господи, тяжело мне... Отчего мне тяжело?»

* * *

Примчавшись домой, Гриць спешит к белолицей Настке. Ему хочется к кому-то прижаться, к кому-то приласкаться, кому-то сказать, что он любит Туркиню. Что она такая, что она такая... Что у него болит сердце... что она сказала то-то... ответила так-то; и еще многое другое бужет у него в груди. Оттого-то он и пошел.

Настка ждала.

Она всегда ждала.

Когда бы ни пришел Гриць, она всегда его ждала, одинаково его любила. Всегда неизменно была рада ему.

— Настуня, голубка! — говорит он грустно, тоскливо и обнимает ее. — Настуня, я очень устал...

Настка прижимает его к себе, ласкает. Настка старается угодить ему. Она ни о чем не спрашивает. Все, чего он хочет, беспрекословно исполняет, всегда добра, всегда мила.

Они сидят рядом и не говорят ни слова... За них говорит их молчание.

Он устремил задумчивый взгляд на лес и горы, но ничего не видит. На него смотрят черные глаза из-под дугообразных, удивленно поднятых бровей, горят у лица красные маки, дрожат в ушах золотые полумесяцы, цветут любимые уста.

«Туркиня! — стонет, безмолвно молит его тоскующее взволнованное сердце. — Туркиня! Почему ты меня не любишь?»

«Не при-ду-у!» — отзывается в ушах милый голос и замирает в глубине его тоскливой жаждущей души. «Не при-ду!»

— Поцелуй меня, Настя! — говорит он вдруг через некоторое время твердым, властным голосом, привлекая к

себе податливую полнолицую девушку, и прижимает ее к груди. — Поцелуй!..

Поцеловала...

— Так... — произносит он удовлетворенно, быстро встает и, не удостоив ее больше ни одним взглядом, уходит.

* * *

Отцвели красные маки, которыми украшала себя все лето юная Тетяна. Наступили унылые дни. Унылые, короткие и дождливые. А в доме Иванихи Дубихи, который стоит между горой и шумной речкой, почти всегда царит полумрак. Это пихты, поднимающиеся густыми рядами против дома на горе, преграждают доступ солнцу и наводят уныние; перед иконой пресвятой девы в доме набожной Иванихи Дубихи мерцает, как обычно, маленькая лампадка.

Тоскливо и грустно теперь, в осенние дни, красивой Тетяне. Мать занята хозяйством и делами на мельнице и не долго засиживается в комнатах. Тетяна, убрав их рушниками, сухими цветами и коврами... порой не знает, как убить время, — до того много его остается. Хоть и помогает матери по хозяйству, хлопочет вместе с ней, все же порой кажется ей... что свободного времени слишком много. Иваниха Дубиха не разрешает своей единственной дочке делать черную работу, а между тем тоска по Грицьку и тайная любовь к нему подтачивают душевный покой и равновесие девушки. Взлетела бы, как птица, к нему на гору, ведь он же звал, молил в лесу, чтобы она хоть раз еще пришла. Но она не пошла. Что-то, что сильнее ее, удерживало в долине, дома, не позволяло идти к нему.

Хотела повидать — и не шла. Любила — и не открывалась. Крепко заперла свое сердце и будто ждала чего-то. Будто боялась полюбить такой любовью, на какую была способна...

«А что ж, стану плакать?» — звучал в душе его голос, когда она вспоминала свой разговор и его слова о том, что дивчата, полюбив, должны иметь «свой разум».

Да. У нее был свой разум, и поэтому она не приходила к нему в лес. Не верила ему. Вон бедная Мавра жизнь свою погубила, и все ее бросили. Никого, кроме Тетянки и ее матери, у нее нет на целом свете. Нет, она так не хочет.

Лучше совсем не любить, если он может ее забыть, осмеять за то, что так сильно его полюбила, в очах душу загубила.

И отчего-то ей страшно, и отчего-то грустно. Сколько ни молилась, нет у нее к нему веры. «Полюбит, бросит, насмеется и свистнет!» — все время предостерегает ее какой-то внутренний голос. Так поучала, предостерегала ее Мавра, а Мавре она верит.

— О!.. о!.. о!.. — вырывался от одной только мысли об этом стон из груди, и вера, если она даже порой появлялась у нее, исчезала без надежды на возвращение. Мысль нестерпимая. Она терзает сердце, отнимает покой. Навевает уныние, опаляет душу. Она, Тетяна Дубина, брошена, осмеяна. Она — которую мать держит точно цветок за образами, лелеет, нежит. Для которой делается все, чего бы только она ни пожелала. И он бросит, будет по-свистывать ей!.. Словно под невидимым бременем какого-то непонятного ей самой страха сникает Тетяна, страдает, терзается душой.

И это бывает с ней часто, подолгу. И потому гордо молчат ее замкнутые уста, никому не говорят о боли и блаженстве в ее душе. Если придет он сам или его сваты, тогда она заговорит, все расскажет. А если нет — пусть все в ней погаснет.

А порой сердце Тетяны снова, как вешний лед, оттаивает. Она сама себе улыбается, радуясь чему-то всей душой. Он ее любит!.. — красивый и гордый, как орел. Он все же любит, сохнет по ней. «Гриць, Гриць!» — зовет ее юная душа, простирая к нему в тоске свои чистые крылья, трепещет, полная надежд, смеется от счастья; когда придет он сам?

Сам!

На своем дорогом, черном как смоль коне. Приедет, поцелует, станет перед матерью, скажет то, что должно, подарит ей счастье.

Но не спешит Тетяна к нему, а бежит лесом к Мавре. «Сказать? Поделиться? — неуверенно спрашивает внутренний голос. — Рассказать Мавре? Открыться? Или лучше промолчать, пока не придет время...»

Нет, лучше молчать! Не выдать себя ни одним словечком. Лучше она будет ждать одна, молча высматривать свое счастье, любить тайно, а наступит время, он зашлет сватов, и все будет хорошо. Мать отдаст ее за него. Они полюбят друг друга, и она уприсит мать выдать за него.

Но не спешит Тетяна к нему, а спешит к Мавре.

Хоть и не расскажет ей о своей любви, да Мавра многое знает, все понимает, она бывала везде, умеет гадать, вспоминает иногда и про любовь... с ней как-то легче будет.

Бродя однажды с такими мыслями по лесу, сворачивает Тетяна в ту сторону, откуда видно Маврино жилье, и.. наконец входит в хату.

— Мавра! — говорит она оживленно. — А я к тебе в гости, хоть сегодня и не воскресенье; но у нас порой так тоскливо и уныло, что иногда просто даже... гонит из дому... хоть бы к тебе! — И с этими словами девушка с такой нежностью прижимается к своей старой подруге, словно требуя, пусть бессознательно, ласки и любви.

— Мавра, видишь, я здесь... обними же меня за это, приласкай...

— Еще что выдумала! — отвечает Мавра, а сама осыпает ласками, обнимает свою любимицу.

— Почему не приходила? — спрашивает она. — Забыла уже Мавру? Полюбила какого-нибудь хлопца?

Пусть она ей все расскажет, все как есть. Она ведь одна у нее. Одна на всем свете. Она для нее все. Кроме нее, кого ей любить? Кто о ней, о бедной женщине, заботится? Кругом только лес, лес да горы. А вот сегодня утром ребята опять орал. Налетели, остервенелые, окружили опять хату. «Татары идут!» — подняли крик. В дверь колотили, а пока она с печи слезла, исчезли. Кого же ей любить? Кого еще лелеять, если не ее, голубку, белую голубку?

...Тетяна смеялась.

— Опять страшали татарами?

— Да, налетели откуда-то и давай колотить в двери: «Открой, Мавра, татары идут». Только и хватило времени, что проклясть их да зелье припрятать, чтобы не раскидали.

— Много этим летом зелья собрала? — спрашивает Тетяна, озираясь по углам, где старуха держала высушенное волшебное зелье.

— Хватит.

— А вон там, на печи, что за зелье? — спрашивает с любопытством Тетяна. — Я еще не видела его у тебя, такого не знаю.

— Вон то зелье? — сухо спрашивает старуха.

— Вон то. От чего оно, Мавра?

— *От всякого зла*, — отвечает по-прежнему сухо Мавра, — оно из-под Белого камня.

— Да от какого же зла, Мавра? — допытывается девушка, внимательно присматриваясь к листьям травы.

— Вот то — *от зла*... — слышит она то же самое. — Если дашь напиться, то поборешь его. Поборешь сном, и больше его уж не будет. Оно дает сон... — добавила она затем более приветливо. — Не можешь спать по ночам, сваришь, напьешься — и хоть ты что, а уснешь. Верно, и меня враги этим зельем опоили, когда мою долю порешили и меня выкинули. Вынесли во сне из шатра, а я ничего и не слыхала. Иные из наших знают толк в зелье. Да притом, если нужно, еще приказывают: гей, гей, зельюшко! — прибавила она и странно усмехнулась. — Мавра тоже знает толк. Только себе не вари, доченька, — предостерегла она, — а лишь своему злому ворогу. Да знай еще притом, когда его копать...

Говоря это и объясняя ей, как сильно действует зелье, она словно чего-то не договаривала, но Тетяна и не допытывалась. Она только спросила:

— Когда его собирать?

— Когда? — повторила Мавра. — Вот слушай, как и когда, да только не позабудь. Дважды это не говорят. Коли для себя случится, то в одиночку, набравши воды в рот. До восхода водой залей, горшков по соседству в печку не ставь, кувшин не расплещи, — и все это молча. Так — для себя. А против зла — иначе.

Тетяна усмехнулась.

Мавра погрозила ей.

— Не смейся, дивчина, — прибавила она строго, — а лучше запомни. Может, я помру, так ты одна помни! Почему бы тебе не знать этого? Тебе пусть и не пригодится, а знать все следует. Вот и знай, против зла... в *воскресенье утром* собери, в *понедельник* положи, во *вторник* вари в *среду утром* напой — и ого-го, какой крепкий сон зло свалит!.. — даже пропела она, прищелкнув пальцами. — Гай, гай! — и расхохоталась. — Ой! — вскрикнула она через некоторое время с сожалением. — Будь у меня это зелье при себе, когда он сказал, что одна я во всем виновата да еще свистнул, не была бы сейчас Мавра в лесу, одна на целом свете, а была бы она меж своих, вместе со своим ребенком... Эх! — добавила она горько, оборвав свою речь.

— Ну и что же, Мавра? — спрашивает Тетяна, и ее

глаза внезапно широко раскрылись, налились тревогой.

— Пускай он по крайней мере хоть трое суток проспал бы, а то и совсем...

— Мавра! — вскрикнула девушка с отвращением, сердито насупив черные брови. — Грех так говорить!

— Может, и грех... — ответила Мавра твердо. — Но и меня, молодую, бросать, разлучать с мужем тоже грех был.

— Мавра... ты его *любила*? — спрашивает Тетяна, и невольно в ее голосе звучит опасение, и ей самой непонятно, почему перед ее глазами тот, кого она любит, Гриць.

— Любила на свою беду, на свое горе. Это правда, что любила. Он мне казался лучше, чем Раду. Да что мне от этого? Теперь нету ни его, ни ребенка, ни Раду, ни моих родных — никого. Тетяна, Тетяна, — добавляет она грустно, — что ты, доченька, знаешь о том, что значит в сердце женщины *горе*. *Нет ему конца*... И да хранит тебя бог, чтобы ты даже вчуже узнала это. Ты помешалась бы, — предостерегает Тетяну Мавра, набивая свою трубку.

— Я помешалась бы, — повторяет тихо Тетяна и тут же умолкает, нахмутив, как прежде, брови. Вдруг подходит ближе и, став перед старой цыганкой, говорит:

— Мавра!

— Что, доченька?

— Ты много знаешь...

— Не так уж много, но то, что надо, знаю.

— Тогда скажи мне. Все ли такие, как *тот* был?

— Который?

— Тот, кого ты любила, а он тебе... изменил, свистнул тебе вслед?

Мавра глядит на девушку, словно на малого ребенка, и, прищурив глаза, отвечает:

— *Разве что сейчас* народится тот, который таким не будет.

Тетяна так и обомлела от этих слов. Она садится молча опять на скамью и больше уже не спрашивает ни о чем.

Зато Мавра не молчит.

— Доченька! — неожиданно произносит она и пристально смотрит на девушку. — Почему ты с некоторых пор забываешь старую Мавру? А?

Тетяна стискивает зубы.

— Не любишь ее больше?
 — ...Люблю.
 — А больше никого не полюбила? А? — спрашивает Мавра, попыхивая трубкой, а ее черные глаза впиваются в белое лицо той, которую *одну* лишь любит.
 В душе Тетины в ответ на этот вопрос что-то возмущается, что-то, раньше покорно склонявшееся пред старухой, покорное ей, как неведомой черной силе, которая хотела взять верх. Девушка гордо поднимает голову.
 — А *хоть бы* и полюбила? — спрашивает она внезапно и бесстрашно смотрит прямо в глаза старой гадалке.
 — Тогда не верь!
 — А если поверю?
 — Так потом не жалуйся! — Последнее слово Мавра произносит почти с угрозой.
 — Я не пожалуюсь.
 — Прислал уже сватов? — спрашивает Мавра вместо ответа, и опять ее взгляд пронизывает девушку до глубины души.
 — Он еще их пришлет.
 — Кто-нибудь из нашего села?
 — Нет.
 — Издалека?
 — Не знаю. Ничего не знаю.
 — И ты его любишь?
 — И я его люблю.
 — Говоришь — он тебя посватает?
 — Он меня посватает.
 — Когда?
 — Не знаю.
 — Этой осенью?
 — Не знаю.
 — Тетяна! — страстно предостерегает ее Мавра и строго грозит ей пальцем. — Тетяна!
 — Что такое? — что-то в тоне старой Мавры заставляет молодую девушку сопротивляться.
 — Смотри, Тетянка!
 — Он же меня любит!
 — И ты его любишь?
 — И я его люблю.
 — И он не из нашего села?
 — Не из нашего.
 — А мама об этом знает?

Тетяну передернуло. Одна мысль, что кто-нибудь вздумает стать на страже ее любви к Грицию или быть помехой, возмущает ее, настраивает на бунтарский лад. Она топает ногой, как делала это в детстве, когда не исполнялось ее желание, и сердито отворачивается.

— Еще и мама! — крикнула она раздраженно. — Для чего и маме знать? Когда он пришлет сватов, тогда и узнает. А теперь не к чему.

— А если тебя кто другой посватает этой осенью?

— Не пойду, — отвечает она решительно и гордо.

— А коли мама прикажет?

— Мама не прикажет.

— А если заставит силой?

— Мавра! — набросилась на нее девушка с таким необыкновенным раздражением, точно хотела ударить, и глаза ее сердито засверкали. — Мама не заставит!

— Нет, нет, доченька, — успокаивает Мавра, встревоженная раздражением девушки, как, бывало, делала это в ее детские годы. — Мама не заставит.

— И ты мне поможешь, Мавра? — просит Тетяна повелительно.

— И я помогу, доченька, уговорю маму.

— Пока он не пришлет сватов, Мавра.

— Пока не пришлет сватов.

— Даже, если б и другие явились и мама заставляла бы? — спрашивает Тетяна, подчеркивая каждое слово, будто заручаясь с этого момента помощью Мавры.

— Даже и тогда, дитятко. Да не печалься. Не время об этом печалиться.

Тетяна садится поближе к печке, в которой тлеет несколько угольков, и замолкает.

— А он хоть сын богатея? — спрашивает спустя некоторое время Мавра.

— Конечно! — отвечает горделиво Тетяна, стараясь своим тоном заранее отогнать у своей старой няньки всякую иную мысль.

— А красивый?

— ...Ну-у-у! — только и говорит в ответ молодая девушка с особым ударением и поднимает брови, а потом прибавляет. — Такой, должно быть, только *твой* был, Мавра...

— Сохрани боже, чтоб тебе такой же попался.

— Красивый, говорю, Мавра.

— Слышу, доченька, — отвечает цыганка и качает жалостливо головой. — Оттого я и пропала, — добавляет она полголоса, почти нараспев. — Душу отдала за его глаза.

— За его глаза... — повторяет мечтательно, задумчиво Тетяна.

— А как его зовут?

Тетяна колеблется, потом машет пренебрежительно рукой и равнодушно говорит:

— Встретилась раз...

— Один раз? И сразу полюбила?

— Раз, и второй, и третий, а в четвертый полюбила.

— Тайком?

Тетяна молчит, опустив голову.

— На мельнице? — выпытывает, выведывает девичью тайну Мавра.

Тетяна сначала молча подтверждает кивком головы, но тут же отвергает это:

— Не хочу правду говорить.

— Тетяна! — предостерегает Мавра, почти молит. — Скажи ему, пусть присылает сватов. Не выходи к нему.

— Он сам придет сватов, — отвечает твердо девушка.

— Дай бог. И дальше тоже береги себя, Тетяна! Потому кто, доченька, любит, тот часто и губит, — прибавила она пророческим тоном.

— Губит, — повторяет едва слышным шепотом Тетяна и замолкает...

Тишина... Молчание.

Мавра, задумавшись, попыхивает трубкой, а в Тетяне снова идет какая-то внутренняя борьба; потом она бросается к Мавре, прижимается к ней и умоляющим голосом спрашивает:

— Мавра, неужто вправду все *такие*, как ты говорила?..

Мавра отвечает твердо, и ее ответ подобен падающему в воду камню, которому возврата нет:

— *Разве что сейчас народится тот, кто таким не будет.*

— Мавра!!

— Доченька моя дорогая, если ты никогда не верила Мавре, так поверь хоть на этот раз! Ты у меня одна на свете...

— У него правдивые глаза... я его люблю, — отвечает молодая девушка, словно борясь с недоверчивостью своей старой няньки.

— Любишь, доченька? Любишь? — отвечает грустно Мавра. — Так люби же счастливо, а то я одна осталась

на всю эту гору. На весь лес, на всю эту глухомань и вдоль и поперек — одна, как есть одна.

Взволнованная, возвращается осенним тихим лесом Тетяна и решает больше не ходить к Мавре. Ей больно, когда Мавра заговаривает о них, а заодно и о том, которого она не знает.

Не пойдет. Нехорошо ей с Маврой. О чем ни заговоришь, она на все набрасывает мрачную тень. А Тетяна любит. Она знает Гриця. И он ее тоже любит. Они сами позаботятся о своем счастье.

Она поджидает дома сватов от него. Порою молится. Когда-нибудь он подъедет, — подсказывает ей ее сердце, — заржет вороной конь, и он войдет в дом. Снимет шляпу, как не раз бывало в лесу, и, поклонившись покорно, скажет: «Я пришел, Туркиня! Тебя одну я люблю, одну в целом свете».

Куда бы она ни ходила, за что бы ни принималась, в ее душе звенит одна и та же песня: «Гриць ее полюбил, а она Гриця...»

Медленно, день за днем, проходит осень, приближается зима. Вот она и наступила, наконец. Белая, чистая и морозная. Пушистый снег клонит сосны и толстым слоем укрывает белую тропинку. Весь лес, куда ни глянь, на время обратился в какую-то белую сказку...

Из-под густых пихт, отягощенных белым снегом, над самым оврагом вьется прозрачно-голубой змейкой дым из Мавриной трубы. Мавра зимует...

* * *

Медленно тянутся для молодого Гриця осень и зима. Первое время он ездил еще в надежде встретить прекрасную Туркиню, но вскоре, убедившись, что она держит слово и не является, верная своему обещанию, что «не придет», он помрачнел. «Если бы любила, то пришла бы, — твердил он себе постоянно, — хоть раз, но пришла бы, показала бы — чтобы я хоть увидел, взглянул бы на нее. А то уперлась на своем — и ни разу». Уж холод и мороз стоят в горах, но все еще можно время от времени видеть

Гриця на вороном коне, как он его гонит куда-то и грустно, медленным шагом возвращается обратно. Лишь когда стали крепчать морозы и снег белым тяжелым пластом налег на широкие ветви пихт, перестал он поджидать в лесу девушку. Тем временем в его душе свила гнездо тоска, как ни разгоняла его неволью своими ласками, щебетанием и покорностью белолицая Настка, — Гриця словно подменили. Он стал угрюм. Заслать сватов к Тетяне он тоже не может: по соседству с ним живет Настка, и он не станет ее огорчать. К тому же отец не хочет отделять его — велит с женитьбой подождать, не торопиться, — ему приходится покоряться отцовской воле. Пребывая в ожидании, делая в сердце бог весть какие надежды на Туркиню, он в то же время не перестает тайком, распытывая о Тетяне, видиться с синеглазой Насткой, отдаваться тому чувству, которое его связывает и удерживает возле нее. Он как будто крепнет душой, когда то и дело слышит от товарищей, что она, кроме него, *который пляшет, словно ногами узоры пишет*, никого не замечает, сохнет и любит его до безумия.

А Туркини нигде не видно.

Да не таков характер у Гриця, чтобы долго маяться со своей сердечной тоской. Однажды утром оседлал он своего черногривого коня и поскакал в село, где жила Иваниха Дубиха со своей красивой дочкой.

Носится он туда и сюда по всему селу, делая вид, что приехал по делам, а мимоходом об Иванихе Дубихе расспрашивает. Очень ли она горда и неприступна? Очень ли строгая пани?

— Горда больно, — отвечают, — и строга, а уж для своей дочки, так, кажись, чуть ли не самого бояра выжидает.

— А дочка? — спрашивает Гриць.

— Ни о ком и слушать не хочет. Отказывает всем до единого. Говорит, что не «по душе», и отказывает.

— Вот молодчина, что и бедных любит, — вырвалось как-то у Гриця.

— Да какое уж там «любит»! Как есть никого, а на бедного так даже и не смотрит.

— А красивая? — продолжает допытываться Гриць, притворяясь, что не знает девушки.

— Сам уж приглядись, — говорят ему в ответ. — Поклонись ей низко, погляди на брови — тогда собственными глазами увидишь, кто такая Дубивна, кто такая Туркиня.

У Гриця так и разгорелась душа. Хорошо о ней отзываются: ни на кого не глядит. А на него она смотрит, эта Дубивна, с ним она ласкова, прекрасная Туркиня.

Смотрит? Гриць, Гриць... думай о том, что делаешь! «Думаешь, я здесь для всякого?» — припоминаются ему ее слова.

«Я не для всякого...»

Но Грицю и горя мало, что сказала девушка. Он ее любит. И что-то заставляет молодого хлопца гордо поднимать голову, точно напоминает о своем праве... а до всего прочего ему и дела нет. «Для всякого или не для всякого, а *его* она будет! Еще не было такой, которая бы ему противилась». И Гриць смело идет прямо к дому Иванихи Дубихи. Хоть увидит Тетяну, скажет ей слово-другое. Может, она выйдет из дома...

Вышла Туркиня, вспыхнула и вскинула удивленно брови. С шапкою в руках стоит перед нею Гриць.

— Я пришел, Туркиня, — говорит он покорно.

— Ладно, — отвечает она и улыбается ему глазами. А вслед за ней — мать, высокая, строгая, в черном.

— По какому делу, молодой хозяйин? — спросила она сухо и бросила на Гриця и дочь холодный пронизывающий взгляд.

— Здесь его не спрашивали утром люди?

— Не спрашивали, — ответила она еще более холодно.

— Мужчина и женщина...

— Не спрашивали, говорю! — И, повернувшись к ним спиной, вошла в дом. — И ты, дочка, иди, на дворе не задерживайся! — так приняла его Иваниха Дубиха, и больше он ее не видел.

— Иду, мамочка... — отзывается послушная Тетяна, а сама ни с места.

— Приходи, куда хочешь, я всюду явлюсь, хоть бы и в церковь, — просит Гриць, снова смиренно кланяясь. — Вдвоем погрустим, вдвоем поговорим.

— Не приду. И не жди, — отвечает она решительно.

Он ждет с минуту, мнет в руках шапку, потом говорит: — А в лес весною придешь? — спрашивает и склоняется на этот раз перед ней так низко, что касается шапкой земли.

— В лес весною приду. А теперь ступай.

— Когда зазеленеет, — подхватывает Гриць и просто

пожирает взглядом ее черные брови, ее улыбающиеся уста, всю ее красу.

— Когда зазеленеет,— повторяет она и снова улыбается.

Гриць кланяется.

— Спасибо, Туркия, за то, что вышла из дому, что сказала мне слово, спасибо еще раз.

— Спасибо тебе, что ты сдержал слово, но все же уходи, моя мать не шутит...

Умчался Гриць на вороном коне, и тихо стало возле дома, лишь с минутку еще, точно в напоминание кому-то, слышится в воздухе топот конских копыт.

«В лес весною придешь?» — повторяет Гриць то и дело дома свой вопрос,— куда бы он ни ходил, за что бы ни брался.

«В лес весной приду!»

«Когда зазеленеет...»

«Когда зазеленеет...» Господи боже, вот Туркия и любит!

«Весна, приди! — тужит, молит в немой тоске его горячее сердце, вздыхает его молодая грудь.— Весна, приди!..»

Повеселел Гриць. Обнимает он, полный тайного счастья, синеокую Настку, прижимает к сердцу, ласкает ее, угождает отцу, матери и улыбается сам себе. «В лес весной придешь?» — спрашивает его сердце.

«В лес весною приду»

«Когда зазеленеет?..»

«Когда зазеленеет...»

Зеленейте, сосны!..

Весна настала.

Стоят пихты прямо, будто зеленые хоругви, приветствуют своим шумом друг дружку, кивают кронами, и все потому, что пришла весна.

Цветут и цветы, уже колышутся колокольчики у скал, у камней, и все это в честь весны, в честь ее возвращения.

Распустились уже и маки у юной Тетины, и вот-вот на-

ступит время, когда она их сорвет, украсит ими волосы и поспешит через зеленый лес быстрыми шагами к старой Мавре или еще дальше...

В один из таких прекрасных весенних дней отправился Гриць на полонину осмотреть скот, некоторые колыбы и по приказанию отца отобрать несколько штук скота получше на продажу.

Проходя селом на соседнюю гору, где находились полонины его отца, он наткнулся по пути на знакомого ему еще с детства деда Андронати, который хоть раз в несколько лет появлялся в их селе и всегда заходил к ним.

Заходил — по разным делам. То продавать ложки, то просто за милостыней, а то просился переночевать, но заходил постоянно. Увидя теперь на пустынной дороге нищего цыгана, Гриць поздоровался с ним и остановился.

Нищий цыган пошел с молодым хлопцем, и они, слово за словом, пересказали друг другу о том, как им живется, что они пережили за то время, пока не виделись, и разные случаи из своей жизни.

Старый цыган рассказал Гриць, что бродит уже около двадцати лет по свету и лишь глубокой зимой остается в Венгрии, близ пусты, ютятся среди других цыган. Жена его умерла еще лет двадцать назад, вскорости после потери единственной дочери, которую постигло несчастье, и она, верно, тоже умерла или, может, скитается по свету. Ребенку его дочери, правда, живется хорошо, говорил он, не глядя при этом на молодого хлопца. А его самого удерживает на этой земле только надежда на то, что ему когда-нибудь удастся смежить глаза близ своего внука. Но пока это случится, еще придется пошататься по свету; когда же наступит время и его внук женится, тогда он придет к нему и останется при нем навсегда.

Прошлой зимой, рассказывал цыган, проходил он через здешние села, собирая милостыню, так как цыгане, среди которых он обычно ютился, перессорились между собой и прогнали его бродить по свету, добывать себе кусок хлеба. Но какой у него может быть заработок, если он не в силах уже и смычком по струнам водить? Ночи просиживать, на свадьбах играть?.. И потянуло его пройти через то село, где он в последний раз видел свою дочку, да жалеет те-

перь. Забрел он в лес по какой-то тропинке, которая, казалось ему, сокращала путь, и заблудился. И хоть просился в какую-то хатенку в лесу, да так и не пустили в тепло, и чуть было не погиб с голоду и холоду. И уже с той поры живет зимой только в долинах. Но теперь он совсем ослаб; чует смерть за плечами. И кажется ему порой, что господь держит еще его на ногах лишь для того, чтобы он мог кое-чем помочь своему внику.

— Чем? — спросил Гриць.

А это старику трудно объяснить... Но так ему кажется... Кроме того, хочется на его свадьбе сыграть на скрипке, хоть и своими стариковскими пальцами. Славный музыкант Андронати сыграл ему на свадьбе... а потом... пусть хоть сразу и смерть. Вот оно как!

Говоря это, старик смотрел из-под бровей своим пронизательным взглядом на юношу, который быстро, как молодой олень, взбирался на гору, и затем время от времени, чтобы не оставлять старика позади, присаживался на землю и, в ожидании, равнодушно наблюдал за его тяжелой поступью и разглядывал его самого.

— Тебя, сынок, я уже третий раз вижу, — продолжал старик свой разговор с юношей. — У тебя, верно, нет родителей?

— Говорят, нет, — коротко ответил Гриць, не любивший, когда ему напоминали, что он приемыш.

— А тебе у них хорошо? — расспрашивал, любопытствуя, старик и словно ждал, чтобы слово «хорошо» слетело с уст юноши.

— Да, хорошо, — слышит он опять короткий ответ.

— У богачей живешь?

— Да вроде как у богачей. Еды, питья вдоволь, на хорошую одежду тоже не скупятся, лучшего коня из табуна подарили... — И, не закончив своей мысли, хлопец умолк.

— А чего тебе еще не хватает? — допытывается старик и улыбается. — Милой?

Гриць махнул рукой.

— Э, — говорит, — их хватает, какую б ни пожелал. Но меж ними есть две по сердцу.

— А богатые? — осведомляется опять старик, и в глазах его вспыхивает алчность.

— Да, вроде как богатые. Чернявая, говорят, такая богачка, что мать, может, и не захочет ее выдать за меня; а синеглазая, русая, моим родным нравится, а я ее родным. И добра она и собой недурна; как раз, говорят, мне вара.

В конце концов бог знает, которая моя суженая. И которая будет, та и будет. Э... — и махнул пренебрежительно рукою. — все они одинаковы.

— Что? — спрашивает старик и раскрывает рот, так как иной раз не очень хорошо слышит.

— От этого всего ушел бы я лучше бродить по свету!

— Куда? — даже аскрикнул старик.

— По свету.

— По свету? Как какой-нибудь цыган? Вот это так брякнул. Нищенствовать, как я?

— Э, нет — не так, как вы, за подаванием; а просто, чтобы свет поглядеть. Наскучило мне, дед, среди гор, так порой и тянет куда-нибудь в широкий мир, — говорит почти с тоской Гриць, — так, что господи ты боже мой! Ан нет.

— Дивчат жалко? А? — спросил старик и рассмеялся.

— Может, и жалко той, с черными бровями, — ответил Гриць простодушно. — Она никогда не наскучит. Всегда тебя словно чем-то новым потчует. Правда, дед, — хорошая дивчина.

— А я тебе скажу, сынок, все это пустое. Пригожая ли, нет ли, белая или черная — коли богата, так бери. А очень красивой даже остерегайся. Станет на других поглядывать, — поучает старик.

Гриць рассмеялся.

— А я для чего буду? — спросил он. — Но она красивая, точно боярская дочь. А русая зато славная и во всем угождает. Стоит только чего захотеть, а она уже исполнила. По ним, по обеим, хлопцы с ума сходят. А я еще не знаю, какую посватаю. Жалко одну бросать, но горько и другую покинуть. Гей, Туркия, Туркия! — вдруг воскликнул он с тоскою. — Ты запала мне в душу, а сама, будто чаровница какая... крепко схоронилась! Эй, дивчата, слейтесь в одну, и я вас посватаю!..

Эти тоскливые и вместе с тем пылкие слова вызвали у старика горький смех. В его памяти всплыла, точно какая-то забытая старая сказка, история несчастной любви его дочери, Мавры. И своего свирепого Раду она любила, и мадыарского бояра любила, а осталась на свете одна-одинешенька... погибла где-то...

— Одну люби, сынок... — предостерег он строго. — Одну люби, да от души.

И умолк. Будто боялся лишнее слово вымолвить, договорить до конца, высказать то, что само на уста просится.

Он молчал, чтобы не оттолкнуть дорогого для него юношу, не отпугнуть его от себя навеки...

— Верно, русую посватаю, — внезапно нарушил молчание сам Гриць. — Даром, что чернобровую, может, больше люблю. Да где она? Кто ее удержит? Она... и здесь, и там, здесь и там, а хочешь ее обнять, к сердцу прижать — она «не для тебя». Бог знает, как еще будет. К русой по старой привычке тянет, а у черной только я один. Мы любимся тайком, видимся в лесу... Туркия, при-ди! — крикнул он тоскливо, не считаясь с присутствием старика, словно был совсем один на этой горе. — Придет, когда зазеленеет!.. А вот уж и зеленеет, — добавил он, обращаясь к деду, которого словно только сию минуту заметил. — Эй, ты!.. Ух! — тоскливо крикнул он еще раз во весь голос и, хвативши шляпой оземь, бросился и сам на траву.

Старик добрался к нему и остановился передохнуть.

— Любитесь тайком с чернобровой? — спросил он.

— Встречаемся всегда в лесу. В дом старуха еще не пускает, оберегает ее, как волчица, даже разговаривать со мной не хочет! Потому мы в лесу и хоронимся.

— Плохо, хлопче, — предостерегает опять старик и погружается в какие-то думы. — Плохо. Берегись. Проклятья бродят по свету, и тебя тоже может кто-нибудь проклясть, ее жалеючи.

— Да ведь хороша же! — объясняет Гриць, не обращая внимания на слова старика и, с быстротой молнии вскочив на ноги, сдвигает своенравным жестом шляпу со лба набекрень.

— За ней все хлопцы бегают. Но только мне одному, отец, — заявляет он гордо и прямо, давая волю своему честолюбию, которое так и толкает его высказаться, — будет она принадлежать, только мне. Она красива, — повторяю, — и, как дикая козуля, скачет по лесу; мы здесь и любимся.

— А я, сынок, тебе одно только советую, — снова сказал в раздумье старик, стоя против юноши, опершись на палку, — любить одну от всей души, двоих не голубить. Это доводит до греха, как бы человек ни остерегался. — И, вздохнув с какой-то непонятной тоской, он вдруг спросил: — А как ее имя?... Не из цыган ли она, коли черная?

Гриць расхохотался.

— Вот так угадали! — воскликнул он. — Сами вылезли из шатра и другого бы туда впили... — и опять рассмеялся.

— Не насмехайся над цыганами! — предостерег его старик каким-то зловещим тоном. — Потому как еще не знаешь, сам-то ты из какого рода. Вишь — уже тебя по свету бродить тянет, хоть свой хлеб-соль у тебя есть. А что дальше будет, ты еще не знаешь. С лица-то, правда, ты белый, да кто твоя мать, кто твой отец? Цыган ли, бояр — того ты не знаешь.

Хлопец вскипел.

— Молчи, цыган! — крикнул он. — И ни слова больше. А то как схвачу да сброшу тебя с горы, и не опомнишься. Ишь... — прибавил он презрительно. — Ему моя мать вспомнилась. Еще что! — и даже присвистнул от возмущения. Но вскоре успокоился. — Моя чернобровая любушка, — добавил он, — это Туркия, дед. Знаешь ее? Слышал о ней? Ты же по свету бродишь, как лунатик! — И он снова рассмеялся.

— Не знаю. Но, если хочешь, разведаяю... и еще, может, тебе когда-нибудь пригожусь. А покамест не знаю.

— Да куда уж тебе... Она с цыганами не водится, — надменно уязвил Гриць деда.

— Нет, — ответил старик смиренно, — только любитесь.

Гриць не понял и умолк. Ему стало не по себе от слов цыгана. Не поняв их, он не захотел дальше расспрашивать и почему-то сделался серьезным.

— Кабы я знал, когда будешь справлять свадьбу, и я притащился бы, — заговорил еще смиреннее дед. — Я бы издала, издайничка бы, сынок, — тянул он с каждым словом все смиреннее, кланяясь чуть ли не до самой земли, — издайничка, издайничка... только глядел бы и не наглядился бы. Да куда уж мне, старому, да притом такому убогому нищему, видеть, как женится богач на богачке.

— Осенью, — перебил его гордо Гриць, — этой же осенью, — продолжал он, словно обращаясь к самому себе, — я женюсь. Приходи, коли хочешь. Бедным у нас подают, отчего бы и старому цыгану не подать? Со скрипкой приходи...

Старик смиренно поклонился...

— Так я и хотел бы.

Гриць стоял перед ним, молодой, красивый, глядел поверх головы старика далеко вперед, на леса и горы, будто кого-то там высматривал.

— Кого высматриваешь? О чем думаешь?

Гриць пожал плечами.

— Я о чернобровой, дед... — признался он. — Так меня

опутала, что из ума не идет, да кто знает, будет ли моей...

— Будь я ворожей, погадал бы тебе, хоть и на этой горе, — ответил старик, стараясь задержать юношу, чтобы подольше полюбоваться им. — А теперь, разве что, может, когда-нибудь пригожусь тебе... насчет дивчат, чтоб не очень из-за них беспокоился.

— Ишь ты! — бросил Гриць. — Мне они не страшны. Сделаю, как захочу.

— Значит, пока еще жив, сыграю у тебя на свадьбе...

— На свадьбе, — повторил с деланной улыбкой Гриць.

— Если бог даст. Тебе одному еще сыграю. Я бы рад был тому, коли б ты стал первым богатеем в селе. Знаю я тебя сизмальства, а родители твои были всегда к чужому нищему милостивы. Поэтому я был бы рад... хоть я бедный... чужой цыган... рад был бы... — И, оборвав свою речь, он вдруг опустил старую голову на грудь и смолк.

— Может, и буду когда-нибудь богатеем, — отозвался Гриць, — не знаю. Говорят, по богатству чернобровой нет в селе равной, так что, кто знает, отдадут ли ее за меня?

Старик удивился.

— А чем она больше всего богата? — спросил он.

Гриць уставился на него.

— Чем? — но спустя минуту рассмеялся. — Черными бровями...

— Ой, как чаровница? — спросил старик.

— Чаровница, дед.

— Берегись, сынок... Черные брови таят силу.

— Говорят, — отозвался Гриць и опять засмеялся. — Да я ее не боюсь, только бы мать выдала за меня.

— Чаровницам, говорят, — с важностью пояснил дед, — надо сопротивляться изо всех сил, иначе они берут верх над мужчинами; не зря даже у нас, цыган, опасаются их.

— Один я не боюсь их и все буду делать, как захочу. До Гриця не доросла ни одна... в конце концов и русая моя... Не я им поддамся, а они... мне. — Сказав это, он принялся крутить ус и, улыбаясь, в то же время становился все серьезнее.

Как за двадцать лет до этого Андронати стоял на горé с белым внуком на руках, оглядывая широко раскинувшееся село, высматривая хату богача и не находя ее, так и теперь, казалось, озирает Гриць напрасно леса и горы, словно высматривает свою судьбу, которая должна была прийти к нему вместе с одной из девушек.

И в этот миг, как и двадцать лет назад, донесся откуда-то сверху грустный и протяжный голос трембиты.

Гриць приостановился.

— Это по покойнику?.. — спросил старик.

— Не знаю. Наверно... — ответил хлопец и вдруг прибавил шагу. Как ни привык он к звукам трембиты, как ни любил, но в этот момент они были для него мучительны.

Старик, обессилев, отставал, задыхался и, наконец, остановился.

Гриць задержался на минуту.

— Я покину тебя, сынок, вернусь в долину. Не могу больше.

— Ступайте, — ответил Гриць, — я тороплюсь... меня на полонине ждут.

— Иди, сынок, иди с богом! — ответил старик. — Я рад, что повидал тебя, а дальше да будет божья воля.

— Увидите еще на свадьбе, — утешил его от всей души Гриць и вдруг, словно повинувшись какому-то внутреннему велению, смиренно снял шляпу и низко склонился перед стариком.

— Благословите, дед, перед свадьбой! — попросил он. — Кто знает, что случится, поспеете ли вы вовремя прийти. Благословите, вы старенькие.

Старик просто затрясся от волнения и всхлипнул.

— Благословляю тебя, сыночек, — промолвил он расстроенным голосом, — благословляю и желаю тебе всякого добра и счастья, и не забудь своего деда...

— Не забуду, отец!

И ушел Гриць. В душе он нес не то грусть, тоску, не то какую-то щемящую радость, и то и другое вместе с неотступными мыслями о свадьбе. Потом остановился и глянул в долину. Где сейчас его — как цыган называл себя — старый дед?

Дед еще был виден.

Он спускался все ниже, все ниже посреди пихт в долину, пока, наконец, совсем не скрылся из вида...

Недвижно стоят горы вокруг, замерли густые леса. Одни хищники, распластав крылья, блаженно парят в воздухе.

Миновала уже ранняя весна, красуются леса и горы в свежей новой зелени — наступает лето.

Уже четвертое воскресенье выезжает Гриць на своем вороном густогривом коне в лес к Туркине и не может ее там дожидаться. С надеждой выезжает, с печалью возвращается. Может, засватали ее в мясоед, думает временами тревожно, а может, даже и выдала ее мать за кого-нибудь далеко отсюда, а он ничего не знает, ни от кого о ней не слышит — никто ничего ему не говорит.

Его сердце заполнила тоска, хлынула широким потоком, и если никто другой об этом не знает — то уж его вороной об этом знает твердо. Нетерпеливо дожидаясь здесь, в лесу, Гриць иной раз целый час простоит, опершись на него, погруженный в думы, то напевая грустную песню, то снова прислушиваясь к шелесту, который дал бы знать о ее присутствии в лесу, то играя на свирели. А под конец, потеряв терпение, садится он на коня и гонит вовею куда-нибудь, чтоб только развеяться, — а то и к покорной синеглазой Настке-шебетунье, которая всегда успокоит его. Так и сегодня.

Опершись на своего черногривого друга, он глядит острыми глазами, точно ястреб, на белую тропинку, которая змейкой протянулась в горы из зеленого густого леса, навстречу ему.

«Придет она?» — думает он.

Кто знает.

И вот уже солнышко клонится все ниже и ниже, а ее все нет.

Уже всех ястребов, паривших в прозрачном воздухе, пересчитал Гриць; уже темный овраг, по дну которого мчался шумный поток, измерил вдоль и поперек своим взглядом, наполнил тоскливыми думами, а она и сегодня не пришла.

«В лес весною придешь?» — спрашивал ее тогда, зимой.

«В лес весною приду».

«Когда зазеленеет?»

«Когда зазеленеет», — ответила улыбаясь. И вот как держит она свое слово! Она не только не приходит, она даже ни разу еще не показалась этим летом, — вот и верь дивчатам! Не то что его Настка: только чего-нибудь пожелаешь, — а она уже знает что; не успеешь поду-

мать — она уже скажет... Вот какова Настка, которую он целует-милует. Она же ему верна. Раз и навсегда верна. А Туркина?

Гриць стискивает зубы от нетерпения и проклинает «чертовку», которая так, за здорово живешь, обманула его тогда зимой, пообещав прийти весной, а сама и думать перестала.

В то время как он погружен в эти невеселые думы, его конь вдруг поднимает высоко голову, неподвижно уставясь черными блестящими глазами в одну сторону леса, насторожив уши, и словно ждет кого-то. Ждет всем своим существом.

Широкие, крылатые ветви пихт неподалеку от них раздвигаются гибко и бесшумно, и между ними внезапно показывается девичья голова, украшенная двумя крупными красными маками, и тут же исчезает. Конь испуганно шарохається, а Гриць, не заметив в задумчивости, что произошло с его другом, бросается за ним. Ну, чего испугался, переполюшился? Медведя увидел? Или, может, тонконогую серну, которая собиралась пересечь белую тропинку, но, завидя их, испугалась и скрылась опять? Он успокоил пугливого коня, и снова воцарилась прежняя тишина. Снова ничто не шевельнется. Ждут.

Впрямь нигде никакого движения?

Никакого.

Однако нет: где-то что-то движется. Некоторое время конь стоял спокойно, неподвижно, а теперь снова забеспокоился. Словно почуяв кого-то чужого, пугливый конь стал быстро озираться по сторонам, задрал голову еще выше, чем в первый раз. Но теперь он уже не пугается так сильно, как тогда. Гриць привязал его к стволу пихты, а сам пошел белой тропинкой вперед, в гору. Но не сделал и нескольких десятков шагов, как вдруг поблизости от него, рядом с тропинкой, распахиваются, как до этого, крылья пихт, и показывается сначала девичья, красиво увенчанная цветами голова, а затем и вся высокая гибкая фигура Тетяны.

— Туркина, это ты?! — вскрикнул обрадованный Гриць.

— Это я.

Это я! Это она!

И сами не знают, как это произошло, что он уж держит ее в своих объятиях и что их губы, будто повинувшись приказу, сами сливаются в поцелуе.

— Пусти! — строго говорит она, смущенная, осво-

бождаясь из его рук, которые точно навеки взяли ее в плен, точно забыли, что могут быть еще какие-то другие движения.

— Туркия! — повторяет он, не помня себя от радости. — Я столько раз здесь поджидал тебя, так истосковался по тебе, а ты только теперь пришла!

— Только теперь, — повторяет она, смеясь, затем добавляет: — Оттого и пусти, — и нетерпеливо опять освобождается из его объятий.

— Я шла не одна, — как бы оправдывается она торопливо через некоторое время, — я шла с одной женщиной (она никогда не могла пересилить себя и заговорить о Мавре)... Тсс! — прибавляет она таинственно, вполголоса, — она приходит порой и сюда, к Белому камню, ищет там какое-то зелье...

— Пусть она тут не ходит! — перебивает он и снова прижимает ее к груди. — Сюда пусть не ходит, а то сразу же сброшу в овраг. Сегодня воскресенье, ты, наконец, пришла... дождался тебя, моя зоренька, так пусть лучше не приходит.

Она глядит на него, высоко поднимая черные брови, и, улыбаясь, спрашивает:

— Ты, говоришь, ждал меня здесь уже не раз?

— Сегодня четвертое воскресенье жду.

— А я ходила по лесам и все возвращалась с дороги обратно, не могла дойти до тебя...

Он заглядывает ей в глаза, которые никогда не видели зла и всегда смотрят прямо и правдиво, всему удивляются, всему верят...

— Ласточка моя! — говорит он, целуя ее, и ласкает, прижимает ее то и дело к сердцу. — Ласточка!

— Не могла, не могла, — уверяет она. — Внизу, в долине, я обманывала мать, скрывала, зачем иду в лес, оттого-то мне все совесть и не позволяла...

— Любить, Туркия?

— Любить, Гриць.

— А вот я, видишь, могу.

— Любить и обманывать?

— Обманывать и любить! — отвечает он, не раздумывая, и смеется.

— А я все сомневаюсь...

— Потому что не любишь по-настоящему, как я.

— Гриць!

— Туркия!..

Она обвила его шею руками и молчит.

— Туркия... ты любишь по-настоящему?

Молчание...

Потом:

— Может быть, Гриць...

— Ласточка!

Вдруг подняла голову и опять смотрит открытым взором прямо ему в глаза.

— Никогда так не спрашивай, — просит она с какой-то внезапной тоской.

— А если ты всегда такая странная со мной, — отвечает он, оправдываясь.

— Нет, Гриць, нет... — уверяет она и прижимается к нему с необыкновенной доверчивостью и нежностью. — Если бы ты знал...

— Что, милая моя?

— Как трудно очень, очень любить, и притом эту любовь от матери... — она на секунду замолкла и затем торопливо закончила, — утаивать.

— А зачем утаивать? — спрашивает он напрямик. — Разве это стыдно — любить?

— Не пустят в лес, — отвечает она. — Скажут, чтобы ты засылал сватов, а в лесу не позволят видаться. О... моя мать никогда не пустит...

— Ишь ты! — успокаивает он ее и смеется.

— Да, да, Гриць, — повторяет она серьезно, — моя мать шутить не любит. К хлопцам она строга и не верит им.

— А меж тем их и конем не объедешь, — отвечает он и снова смеется.

— Легко тебе смеяться, — говорит она и выжидательно смотрит ему в глаза.

— Легко, — отвечает он весело, — как же не легко, если Туркия рядом со мной, а придет время — будут и сваты. Этой осенью наверняка будут. Эта зима была такая долгая и тяжкая, я так по тебе стосковался, а теперь, в самый разгар лета, еще и матерей бояться? Ты со мною не бойся ничего.

И, гордо и самоуверенно произнеся это, обнимает ее неукротимо и пылко.

— Так очень любишь? — спрашивает она и пытается взором постичь глубину его любви, заглядывая ему в глаза, в которых свою душу загубила.

— Никого еще так крепко не любил, как тебя. Гово-

рил уже тебе. *Тебя одну в целом мире.* Если бы знала ты, Туркия...

— А если бы ты знал,— значительно произносит она, перебивая его, и высоко поднимает свои черные брови, и это почему-то гораздо красноречивее ее слов.

— Ты не знаешь, что у меня за сердце,— уверяет он и опять привлекает ее к себе.

— А я, Гриць... а я — о боже!.. — и не договорила.

— Люби, голубка, люби,— молит он,— а я на руках отнесу тебя до твоей хаты.

Вдруг она поднимает свою убранныю цветами голову и, словно возвратясь на миг из какого-то другого мира, становится необычайно серьезной и спрашивает:

— А если перестанешь любить?

— Туркия, моя зоренька... разве ж я на это способен? Почему ты с такой грустью спрашиваешь?

— Потому, что ты, может быть, еще и свистнешь мне вслед, когда перестанешь любить? — отвечает она. — А я, Гриць, а я, — и вдруг начинает искать защиты от какой-то опасности на его груди, — я... — и, не договорив, замолкает, словно ей перехватило дыхание.

— Посвистывал я, Туркия, — оправдывается он тоже с серьезным видом, — посвистывал я вслед, что правда, то правда, и не одной, но тебя я полюбил так горячо, что скорей ты насмеешься надо мной, чем я над тобой, когда явится к тебе кто побогаче. Не так ли, Тетянка? Иваниха Дубиха известна как богачка, а я — Гриць. Только у него и богатства, что конь да верное сердце. — И с этими словами он поцеловал ее так горячо, опять прижал к сердцу так пылко, что она больше уже не спрашивала.

— Иногда зимой, — начала она спустя некоторое время, — еще до того, как ты пришел и стал перед нашим домом, я ходила словно с каким-то бременем на душе и все молилась, чтоб господь снял его с меня, и в это время ты сам встал передо мной, Гриць! — и она обвиняла его шеею руками. — И с того дня, с того часа я уж не могла тебя позабыть...

— А меня тоска погнала, — объяснил он весело. — Стало невтерпёж, оседлаю коня и поскакал к тебе. «Что будет, то будет, — думал. — Пусть хоть увижу, хоть погляжу на эти глаза, брови, которые душу у меня забрали, сердце опонди, покой отняли, а сами скрылись».

— А мать потом допытывалась, — начала она снова, —

кто ты таков, откуда я тебя знаю. А я ни слова в ответ, она тоже умолкла, сказав только: «*Смотри, Тетянка*». Боюсь я своей матери, Гриць, когда она молчит, но и тебя тоже забыть не могла. Во сне тебя видала на вороном коне и во сне тосковала. Днем работой тоску заглушала, а бессонными ночами воспоминаниями разжигала. Иначе не могла. Так только и удалось зиму пережить...

— Я бы не раз и не два заглянул к тебе, Туркия, — отвечает он, — да твоя гордая мать меня от дома оттолкнула, но теперь-то ты уж не забывай меня, и увидишь, придет время, все выйдет по-нашему.

— Я не позабыла. Вот разве я не пришла? — спрашивает она и поднимает свои черные брови.

— Спасибо, милая, цветочек мой прекрасный, люби только верно и жди до осени.

— А ты? — спрашивает она и топит свой взгляд, всю свою душу в его красивых глазах. — Придешь? Не забудешь? *Другую не полюбишь?*

Он обнимает ее.

— *Тебя одну люблю. Одну во всем мире.* В воскресенье приду опять, буду ждать тебя. Приходи сюда в лес, зацвети в нем цветиком, я буду тут.

— В лесу? — спрашивает она, колеблясь и раздумывая, соглашаться ли на это...

— В лесу.

— А может, не надо, — вдруг быстро произносит она и, оттолкнув его от себя, стремительно поворачивается.

— Туркия!

Она не слушает — уходит.

— Туркия! *Бежишь к своей матери?*

— Бегу.

— Ишь ты!

Она не откликается, идет.

Он бросился за ней.

— Тетянка! — умоляет. — Вот уже и рассердилась. Уже и разлюбила? А я так долго ждал... застрели меня, чтобы больше не тосковал по тебе... будет тебе легче...

Она оглянулась и остановилась. С минуту молчит и хмурит брови.

Он пожирает ее глазами, потом молча привлекает в последний раз, на прощанье, к своей груди. Молча, без слова возражения, тонет она в его объятиях, в его любви...

— Придешь? — шепчет он страстно, моляще и вкладывает всю душу в это единственное слово.

— Приду.

— Помни!

Когда он очутился снова возле своего коня, то не мог удержаться, чтобы хоть раз еще не окликнуть ее:

— Лю-бишь? — понесся ей вдогонку по пустынному лесу его голос. Ждет.

Казалось, что от стройных высоких пихт, от скалы напротив, через овраг, отразилось отчетливым эхом... «Лю-бишь?»

— Лю-блю! — могуче откликнулся молодой голос и, долетев до самой глубины леса, на миг задержался. Потом, точно молодой путешественник, который быстрее прежнего пробился сквозь лесную чащу, донеслось до него: «Люб-лю...» А достигнув цели, тут же умерло навеки.

* * *

И ходит Тетяна чуть ли не каждое воскресенье в лес. Спешит, с полными счастья глазами, на гору легким шагом, чтобы долго он не ждал... Обратно, в долину, тоже бегом, чтобы не опоздать, мать не прогневать. И все молчит об этом... и все торопится. Точно один день, пробегают неделя за неделей, лето роскошно цветет, любовь их крепнет...

— Приходи, моя Туркия, не скупись любить... — просит он от всей души всякий раз, и, пока сбоку от белой тропинки тянется лес, он идет рядом. Все ему жаль расставаться с ней... так она мила, так красива...

— Возвращайся уже, — напоминает она иногда и становится поперек тропинки, чтобы дальше он не шел.

— Жалеешь для меня еще минуту? — укоряет он. — У меня только и счастья, что одна ты на свете, а ты вон какая! — последнее слово произносит он с горьким упреком.

— Я, Гриць? Я? — спрашивает она, поднимая удивленно свои черные брови, в глазах ее уже загорается горечь обиды.

— Ты... ты не любишь, как я. Все колеблешься. Все

точно на распутье стоишь или по горячим угольям пробегаешь.

— Гриць, — говорит она и смолкает. Живая и впечатлительная, она от обиды целую минуту не может справиться с собой, потом отвечает: — Я с головой ушла в любовь к тебе, другие для меня не существуют, мать обманываю, а ты... — и не договаривает.

— Ты все-таки колеблешься, Туркия...

— Я колеблюсь, сомневаюсь, верно ли ты любишь? О Гриць, — молит она и смотрит на него своими большими глазами, — не обманывай меня! Свое сердце я знаю, это сердце уже не мое — оно принадлежит тебе. Мечты, которыми когда-то тешилась, я на тебя променяла. Душа, что была когда-то моей, теперь всюду за тобою тянется... Не вернется она к прежнему уже никогда. Не обмани меня.

— Ты все-таки колеблешься, Туркия...

Ее глаза вспыхнули.

— Ты говоришь, что я люблю не всем сердцем? О-о-о!.. — воскликнула она с обидой и оттолкнула его от себя, как, бывало, в детстве отталкивала мать, когда та не исполняла ее желания.

— Раньше чем выпадет снег, будешь в моей хате, — говорит он вместо ответа и привлекает ее, чтобы она простила ему обиду. — Не скупись любить, — прибавляет он умоляюще. — У меня только и счастья, что одна ты на свете. Приходи всегда, ласточка, не забывай меня. А коли будут бранить, что ты бродишь по лесам, говори всем прямо, что ищешь счастье.

— Как, Гриць? — спрашивает она, удивленная.

— Что ищешь цвет папоротника, — поясняет он. — Не знаешь? Он приносит счастье.

— Не знаю, — отвечает она и опять дивится его сообразительности.

— Цвет папоротника, — объясняет он еще раз. — Его нужно долго, долго искать, а кто его найдет, тот потом будет знать все на свете и найдет свое счастье. Вот что говори. Кто тебе запретит этот цвет искать? Может, твоя мать? Улыбнись же!

— Может... моя... мать, — отвечает она задумчиво и умолкает.

— Раньше чем выпадет снег, — повторяет он, — будешь в моей хате.

— Раньше чем выпадет снег, — повторяет она, но, не

закончив фразу, точно ее вдруг спугнула другая мысль, прибавляет со страхом: — *Страшно, Гриць, долго ждать...*

— Почему тебе страшно, душа моя, — спрашивает он, — пока ты со мной, ничего не бойся. Тебя одну люблю, единственной моей ты всегда будешь, об остальном не печалься.

— Осенью придут сваты, — жалуется она и, обнимая, ищет у него защиты.

— Откуда сваты? — вскипает он.

— Не говорили еще, откуда, но мать намекает, хочет, верно, меня уже в этом году выдать.

— Пусть намекает. А я у тебя первый. Ты от всех отказывайся.

— Я уже и так отказалась, — отвечает она. — Ты у меня один, а если будут заставлять силой, расскажу матери правду. Ты же сын богача. За тебя мать отдаст.

— За меня мать отдаст... хотя... — произносит он неуверенным тоном и замолкает.

— Хотя? — спрашивает она, и сердце у нее почему-то замирает... — *Любишь другую?*

Он испуганно вздрогнул, но тут же торопливо добавил:

— Нет, другую — нет, Тетянка, но... по правде, я...

— Что, Гриць? — перебивает она с испугом в глазах.

— Я, — решается он и облегченно вздыхает, — я, по правде сказать, не сын богача, а бедный сирота. Я воспитанник, подкидыш...

— Подкидыш? — удивляется она. — Как это?

— Подкидыш, приемыш; у меня хозяева, а не настоящие мои родители.

— Гриць, — говорит она, и в голосе ее точно слышится мольба о защите, — ты же сам говорил... мой отец богач... о... не... — и не закончила.

— Я говорил и повторяю: мой отец богач и, может, оставит мне когда-нибудь и все свое состояние. У него своих детей нет — только я. А выйдешь за меня, он, верно, добрый надел мне даст... а когда-нибудь, может, и все оставит. Один я у него в доме, отцом его зову. Но пока что я бедный — у меня только ты одна... люби меня, хотя и бедного! Не покидай, Тетянка!

— Гриць! — говорит она с глубоким чувством. — Я уговорю мать; хоть она и строга, но *она* меня любит. Слышишь, Гриць, *любит* — желание наше исполнит. *Она* нас не разлучит.

— Это хорошо, ласточка, — говорит он, успокоенный,

и добавляет: — Но пока молчи об этом, приходи в лес, и, раньше чем выпадет снег, будешь в моей хате.

Тетяна слушает его, но вдруг подходит очень близко к нему и погружает взгляд своих широко раскрытых глаз в его красивые голубые глаза.

— Гриць, — говорит она, — я люблю тебя, сам знаешь, как никого другого на свете, но... — и, подняв высоко брови, словно что-то говорит ими.

— Не печалься ни о чем, моя Туркия, — отвечает он, не обращая внимания на выражение ее лица, а лишь любясь ею. — Не печалься ни о чем. Ты *моя*.

— Твоя, — повторяет она, почему-то торопливо выдергивая из волос красные маки и бросая их ему под ноги. — На, возьми, — говорит она. — А теперь уходи. Я очень запаздываю. Вон солнце уже за горой краснеет и заходит, бросает последние лучи по небу; мать опять будет браниться, что я без дела шатаюсь.

— Не бойся, — говорит он. — Я пойду. — И в последний раз обнимает ее. — А придешь опять в лес? — спрашивает он, как всегда, и их взоры сливаются на прощанье в какое-то единое пламя, которое зажигает только любовь. — Приходи, мой цветик, отзовись из лесу...

— Отзовусь опять из лесу...

— Только он да я знаем Туркиню.

— А моя мать, Гриць? — спрашивает она вдруг. — Бог нас не благословит за то, что мы ее обманываем. Она добрая и любит меня... а я... — и, оборвав свою речь и кивнув головой, уходит. Но, не успев сделать и нескольких шагов, останавливается на мгновение и зовет вполголоса:

— Гриць!.. Гриць!..

Он мигом оказывается возле нее.

— Гриць! — говорит она, и ее губы как-то скорбно кривятся.

— Что случилось? — спрашивает он и ласково улыбается своими правдивыми глазами. — Забыла еще раз сказать, что любишь? Ну, скажи еще раз, я послушаю...

— Когда *увидимся*, Гриць? — спросила она и подняла вопрошающие свои черные брови.

— Я еще сам не знаю; да *увидимся*... ты же *придешь*!

— Я *приду*... — И с этими словами она свернула направо и исчезла в лесу.

За ней сомкнулись, чуть покачиваясь, ветки...

Гриць не сразу уходит отсюда, он еще некоторое время

возится с коном, поднимает ее красные цветы и как-то чудно становится у него на сердце. «Вот овладел Туркиней,— возникает у него в душе неторопливая мысль.— Овладел».

«Я приду»,— повторяет он мысленно ее слова и задумывается над ними.

Как странно произнесла она это: «Я приду...» — и ушла грустная.

Вдруг вздрогнул, слушает... будто ее голос прозвучал вон там, по правую сторону, в лесу. Он напряг слух — ждет, и все, кажется, слушает вместе с ним... ждет...

«Не забудь!» — долетает к нему ее голос.

«Не забудь!» — напоминает и эхо в лесу и где-то замирает.

Гриць не откликается. Вместо ответа он сел на коня и уехал.

* * *

— Мавра!

— Что, доченька? Зашла, наконец, и к старой Мавре? А то из-за своей любви вовсе меня позабыла.

Тетяня обнимает старую няню, прижимает ее к себе и просит:

— Прости, Мавра, что не заходила. Не было времени забежать к тебе. Дома все занята, а воскресенье...

— А воскресенье? — спрашивает цыганка и, сверкнув черными глазами, испытующе смотрит на молодую девушку. — А воскресенье?

— Как всякое воскресенье, Мавра! — отвечает Тетяня и отворачивается от старухи.

Но тут же смягчается.

— Мавра,— добавляет она,— ты знаешь, я люблю Гриця.

— Ты об этом рассказывала, доченька,— отвечает цыганка и не сводит глаз с девушки,— рассказывала.

— И он меня любит.

— А так же верно, как ты его?

— Мавра! — восклицает с внезапным упреком Тетяня и, чем-то уязвленная, отворачивается от старой женщины, которая по-прежнему спокойна. — Я тебе больше ничего не буду рассказывать. Ты постоянно либо не веришь, либо пасмехаешься. Что бы я тебе ни сказала, ты ничему не веришь! стыдно, Мавра...

— Бог с тобой, доченька! — успокаивает ее смиренно Мавра. — Да я его и в глаза не видела, а не то...

— Не видела, не видела! — повторяет сердито Тетяня. — А всегда в твоём голосе звучит недоверие и ненависть. Ты все не веришь. Я знаю. Ты никому на свете уже не веришь. И хотя я хорошо помню то, что ты о себе рассказывала, что пережила из-за измены, но *ему одному*, Мавра, ему одному во всем свете я верю. Он меня искренно любит, Мавра... О! ты не знаешь!

— Верю, доченька, что он тебя любит,— твердо отвечает Мавра. — Кто бы тебя, звездочка моя прекрасная, доброта ангельская, не полюбил? Кого же еще на этом свете любить, как не таких, как ты? Гай, гай! — певуче протянула она вдруг, раскачиваясь всем телом и словно отгоняя хищника. — Гай, гай!

Тетяня перестала сердиться.

— Говорил — прежде чем выпадет снег, Мавра, я буду в его хате.

— Слава богу! — отвечает старуха уже несколько иным голосом и с некоторым облегчением вздыхает. — Торопитесь, придет осень — к матери явятся другие сваты. Сказала мне намерении, что хочет тебя этой осенью непременно выдать, а сама уйдет в монастырь.

— О, мама все за свое! — говорит Тетяня. — Больше всего, пожалуй, в жизни ей хочется уйти на старости лет в монастырь.

— Может, и хорошо сделает, доченька.

— Да за кого ей там уж столько молиться? Она и без того достаточно молится... каждое воскресенье, каждый праздник...

— Может, и за твое счастье,— отвечает старуха. — Одна ты у нее. А с той поры, как умер твой отец, с которым она так ладно жила, о чем и она и люди рассказывают, ее таяет в монастырь. А кто же еще за твое счастье станет молиться, доченька, как не она? Ты ведь знаешь, она для тебя звезду с неба достала бы.

— Это правда,— говорит Тетяня серьезно и смолкает; потом после минутного раздумья добавляет: — Она, ты, Мавра, вторая и он, третий, любите меня всей душой и по настоящему.

— Твоя правда, доченька,— поддакивает Мавра,— хороший муж для жены все равно что отец с матерью.

— А разве неправда, Мавра? — отвечает Тетяня, и глаза ее сияют неподдельным счастьем.

— Правда.

— Ты мне его хоть разок показала бы, доченька, — тянет дальше Мавра, — не прячь его, словно золотой червонец.

Тетяна весело усмехнулась:

— Увидишь его, Мавра, увидишь, такой красивый, Мавра, что... о, о, о!

— Как ты? — спрашивает старуха.

— Высокий, усы черные, а сам белолицый да голубоглазый. И всегда ездит на черном, как вороново крыло, коне. И тогда уже лучше его нет. Летит как вихрь. Ах, Мавра, — такой красивый!

Мавра слушает, а мыслями уносится куда-то в прошлое.

— Такой и он был, — говорит погодя, обращаясь больше к самой себе. — Высокий, точно дуб, белолицый, голубоглазый, а на коне пролетал мимо нашего шатра, как степной ветер. Таков и он был. И все посвистывал. Он пан был, Тетянка.

— О ком ты говоришь, Мавра? — спрашивает девушка, которая в эту минуту всей душой была с Грицем.

— О том, сынку¹, из-за кого загубила я свою долю, потеряла отца, мать, Раду и, наконец, ребенка. Из-за кого я теперь одна-одинешенька на всю гору, на весь лес, на целый свет. Коли бы мне хоть сына оставили, — причитала она жалобно, — была бы для меня жизнь как жизнь, а так, что у меня есть? Ох, Раду, Раду! — жаловалась она горько. — Неужто не нашлось для меня иной кары, как только выбросить меня из табора? Уж лучше было бы на месте убить, как грозился. Или оставить бы нас, а самому уйти дальше, и отец, мать взяли бы меня обратно к себе, а так... — И заголосила, как всегда, когда об этом заговаривала, по своему цыганскому обычаю раскачиваясь всем телом и чуть ли не воя от обиды и горя.

— Молчи, Мавра, молчи, — утешает Тетяна, — не терзайся так. Этому ведь ничем не поможешь. Ребенок, верно, у бога, ждет тебя, когда-нибудь встретит тебя, и, может, так лучше для него.

— Встретит, встретит, — отвечает жалобно Мавра, но тут же овладевает собой и произносит совсем другим тоном: — Был бы уже взрослым парубком, где-нибудь, может, служил бы, зарабатывал бы и на себя и на маму.

¹ Сынку — так в Буковине ласкательно называют и мальчиков и девочек.

И было бы ему хорошо, и было бы маме хорошо. А так — что? Гай, гай! — застонала она опять. — Гай, гай!

— Может, он и зарабатывает сейчас где-нибудь, Мавра, кто его знает, — говорит спокойно Тетяна. — Такова уж воля божья. По правде говоря, Мавра, ты своему Раду изменила, а от этого вся беда и пошла.

— Изменила, потому была молода, глупа и поверила, — отзывается Мавра уже спокойно, — загляделась на белое панское лицо, на нецыганские глаза, на панскую одежду, а господь за это и покарал. Держись своего — так он велит и карает. Плохое ли оно, хорошее ли, но греха не будет.

Девушка слушала молча, будто вглядывалась куда-то вдаль, хотя перед ее глазами были только низкие стены ветхой низенькой хатенки и больше ничего.

— Гриць — не пан, — сказала она после паузы, произнося уверенно и твердо имя своего милого. — Гриць не пан, хоть он и белолицый, и синеглазый, и на коне мчит, как ветер. И мы любим друг друга, — и сказав это, встает и прощается с Маврой. — Приходи, Мавра, к нам, если в воскресенье я к тебе не загляну.

— Гай, гай! — отвечает Мавра. — Я приду. А ты если не придешь в воскресенье, то приходи хоть в будни, сообщи старухе, когда ей к твоей свадьбе готовиться да на хлопца поглядеть.

— Скоро, Мавра, скоро, — откликается Тетяна и выходит.

— Только не ходи к нему каждое воскресенье в лес, — предостерегает ее Мавра, провожая далеко за порог. — А пойдешь, возьми и меня с собой, — шутит Мавра, как-то странно поглядывая на девушку. — Пусть и на старую няню своей любушки разок поглядит. Она ж ему на счастье вон какую звездочку ясную да прекрасную вырастила. Сказками вскормила, сердцем взлелеяла, с глаз не спускала, так пусть же он ее теперь хоть добрым словом поблагодарит.

— Поблагодарит, Мавра, поблагодарит, — отвечает Тетяна искренно и серьезно. — Он добрый и правдивый, сама узнаешь, когда увидишь, как он меня всем сердцем любит, если мне не веришь.

Тетяна, отойдя на несколько шагов от Мавры, вдруг быстро оборачивается. Или это ей только послышалось, что Мавра, повернув домой, засмеялась про себя? Неужто вправду это было?

Нет.

Мавра как раз в эту самую минуту переступала порог своей хатенки и исчезла, как в яму провалилась.

Нет. Неужто послышалось... но как же нехорошо!

Тетяну будто холодной водой окатили; с неописуемо тяжелым чувством угнетенности и унижения возвращается она вялой походкой домой.

Уже столько раз убеждала себя не говорить Мавре ничего о Грице, об их любви, и всегда любовь и симпатия к этой старой чертовке побеждают: она открывается и все ей рассказывает.

А после этого возвращается домой — вот так и сегодня — с отравленной душой, с болью в сердце, с горечью недоверия к нему, пока снова его не увидит, пока он снова своими ясными, как небо, голубыми, правдивыми глазами не озарит ее омраченную душу, не успокоит ее и она снова не поверит ему.

«Гриць! — зовет ее доверчивое теплое сердце, исполненное всепоглощающей любовью. — Гриць, разве не так? Ты любишь?»

«Гай, гай!» — чудится ей предостерегающий голос старой цыганки, словно отгоняющей какого-то хищника... Душу ее пронизывает острая тоска... «Гай, гай!»

Тетяна расплакалась...

Вернувшись домой, падает молча в тихой светлице перед иконой пресвятой богородицы, как однажды в прошлом году, ломает судорожно руки, прижимает их в отчаянии к груди и ко лбу, то и дело повторяет:

— Господи, почему мне тяжело? Почему мне тяжело? Тяжко мне, о боже!..

* * *

Несколько лет тому назад рассказывал как-то собравшимся у Тетяны молодым ее подругам старый седоголовый странник, отдыхавший несколько дней у богомольной и милосердной Иванихи Дубихи, о том, что существовал, а может, и сейчас еще существует среди украинских дивчат обычай в канун Ивана Купала гадать и о своем будущем у русалок выведывать.

— Как? Каким образом? — с интересом допытывались молодые дивчата у седого странника.

Точно он этого не знает, он не из тех краев, но кое-что осталось у него в памяти, и он расскажет: поздним вечером накануне Ивана Купала дивчата плывут в лодках, а если боятся, что русалки их заманят к себе на дно и превратят в русалок, то прохаживаются вдоль берега и поют разные купальские печальные песни — любовные и приворотные. Дивчата в тот вечер одеты нарядно, на головах у них пышные венки, и, распевая в лодках или на берегу, они бросают венки в воду. Бросив их, следят, продолжая петь, куда понесет течением венок или выкинет его на берег — смотря что кому суждено. Порой русалки любят растрепывать в воде своевольной рукой венки — знак, что это неудачливые дивчата и милого им не удержат. Иногда брошенный в воду венок тонет — это знак, что либо она, либо милый в этом году погибнет, либо они разойдутся. Иногда венки задерживаются у того берега речки, с какого придет суженый. Но во всех случаях венки направляют русалки, приманивают своей властью и силой — из благодарности, что в ночь на Ивана Купала дивчата о них вспоминают, нарядно в их честь одеваются, оживляют своими молодыми приворотными песнями их, обреченных заклятием быть вечно в воде, и за это русалки заботятся о доле дивчат, открывая ее разными приметами, понятными только дивчатам, или в вещих снах, предсказывающих будущее.

Заинтересовались дивчата рассказом старого странника. Но хоть и заинтересовались, с года на год откладывали гаданье. Одни отказывались, так как не было лодок; другие боялись, как бы русалки не заманили их к себе в воду; третьи опасались насмешек хлопцев; так желающих и не находилось.

Это было несколько лет назад.

Но в этом году сложилось иначе.

В этом году захотелось, бог знает почему, самой Тетяне узнать свою будущую судьбу. Подруги и ровесницы, которым она высказала свое желание поворожить на Ивана Купала венками, будто только этого и ждали. Ждали от самой красивой и, по их мнению, самой смелой дивчины, уверявшей, что ничего не боится: ни русалок как днем, так и ночью, ни насмешек хлопцев в селе; а вот просто захотелось ей — и все. Хочется поглядеть, куда поплывет по воде ее венок, куда направят его русалки. Поэтому она созвала всех подруг и ровесниц в канун Ивана Купала на реку, чуть поодаль от мельницы.

И они в самом деле исполнили ее желание, вдруг почувствовав тоже охоту погадать на венках, погулять лунной ночью на берегу реки, попеть хором самые лучшие песни и обратить на себя милость русалок, скрытых на дне реки...

И вот наступил, наконец, долгожданный вечер, а вместе с ним и полнолуние.

Завтра Ивана Купала, а сегодня ночь ясная, звездная — будто она расцвела нарочно для того, чтобы предсказать у реки молодым дивчатам их судьбу и суженых.

Словно сказочные птицы, слетались дивчата на берег реки, сверкавшей в лунном сиянии манящим блеском между густо поросшей, темной в вечернем сумраке, Чабаницей и белой тропинкой, бегущей вдоль нее.

Точно серебряная струя, шумно неслась широкая река куда-то вдаль.

Но не везде была она одинакова.

Вон там, где ее русло ненадолго суживается, где со дня поднялся громоздкой глыбой камень-великан, там она становится опасной. Там, под этим камнем, напоминающим небольшую скалу, хранит она, как сокровенную тайну, страшный омут, над которым ее поверхность то морщится, то кружится в водовороте.

Морщась и отливая каким-то зловещим заманивающим мерцанием, река в этом месте стремится беспощадно поглотить все, что появляется на ее поверхности.

Никто не переходил через эти глубокие места, такие спокойные на вид и такие предательские в своем покое, никто не пытался переплывать их.

Они не привлекают.

Омут своим покоем не манит никого к себе, а если кого и привлечет на миг, тот, прикинув на глаз глубину возле камня-великана, вернется и продолжает путь, больше не думая о нем. Оттого и река в этом месте кажется пустынной и никто не нарушает там ее покоя.

Не одни пришли дивчата на берег сверкающей ночной реки. С ними и цыганка Мавра. В старом красном платке, небрежно свисающем с головы, со старинными серебряными монетами на шее и на груди, с растрепанными волосами, она бродит среди девушек, как привидение.

Развеселившись от девичьей болтовни и подарков, которыми девушки заманили ее сюда, распевает она какие-

то странные монотонные песни на родном, лишь ей понятном языке и чем-то очень довольна.

Сегодня подхватила ее, очевидно, струя живой жизни молодежи, и она, глядя на дивчат, словно сама помолодела в этот вечер. Но, конечно, здесь она главным образом из-за Тетины. Тетяне захотелось погадать у реки, а это было для нее равносильно ее собственному желанию. Поэтому она и весела.

Она отвечает громко на все вопросы девушек, которые рады бы заглянуть хоть на минутку в скрытое от них будущее, и весело смеется.

Наконец, девушки становятся на выбранных по своему вкусу и желанию местах и с песнями одна за другой бросают в сверкающую воду пышные венки с лентами, которыми были украшены в этот вечер, и ждут.

Когда упал первый венок на воду, послышался первый голос:

Гей, на Ивана, гей, на Купала... гей, гей, гей!
Красна дивчина счастья искала — гей, гей, гей!
Цветы собирала, венок сплетала,
Вниз по речке его пускала.

Второй голос:

Плыла по своей воле, легкомысленный,
Поплыла к хате, где живет мой милый.
Поплыл венок с быстрой водою,
Сердце дивчины забрал с собою.

Третий голос:

На заре волна его растрепала,
Не дал дивчине счастья Купала,
Гей, на Ивана, гей, на Купала,
Дивчина в полночь зелье копала,
В полночь копала, в полночь варила,
А до восхода уж отравила...

После этого все дивчата глядят на быстрые волны, куда и как уносят они венки? Унесут их далеко или близко? К милому или к нелюбу? В каком месте у берега остановятся? И здесь ли, в этом ли селе? Иль, может, разорвут их в своей дикой игре на мелкие части, не донеся туда, куда судьба назначила?

Некоторое время царит глубокое молчание. Дивчата стоят на берегу, склонившись к воде, смотрят, следят не только глазами, а чуть ли не всем существом своим за качающимися на воде венками, потом кто-то запоет вполголоса:

Гей, на Ивана, гей на Купала
Красна дивчина счастья искала.
Цветы собирала, венок сплетала,
Вниз по речке его пускала.

Вдруг крик и смех.

Один венок у берега попал в быстрину, и волна шаловливо выбросила его на траву. Два других, слабо сплетенных, сразу же разорвались, и по всей речной глади поплыли одинокие цветы, как бы отдаваясь реке, и вскоре исчезли...

Лишь одна Тетяна молчит, ни на кого не обращает внимания, ничем не интересуется.

Она очутилась на берегу, возле спокойного на вид омута, отмеченного камнями-великанами, и стоит там в раздумье. За ней потянулась, точно ее вторая тень, и ворожейка-цыганка.

Ее больше всего интересует сегодня венок Тетяны. Что случится с ним? Куда понесет его река? Дальше, в горы к красивому Грицю, или на берег выбросит? Или насмеется, разорвав в клочья? Вот что ей любопытно.

Тетяна не снимает венок. Колеблется. Она не хочет, чтобы кто-нибудь видел, как она бросит его в воду, не хочет петь, не хочет, чтобы на нее обращали внимание, — одним словом, ничего не желает. Ничего такого, в чем захотели бы принять участие и другие.

Чего-то хочет одна-одинешенька.

А сейчас уже, кажется, и этого не хочет.

Так вот и стоит в нерешительности.

Колеблется, а все мысли ее обращены к Грицю, и она спрашивает себя:

«Повенчаются они этой осенью, как он обещал, или придется ждать еще?»

«Прежде чем выпадет снег, будешь в моей хате», — говорил он ей, и она ему верит. Ему одному во всем свете. Венок и вода не скажут ей больше, чем он сам своим голосом и своими устами, которыми целовал...

— Ты здесь хочешь бросать венок? — вдруг раздается позади нее голос Мавры и мгновенно прерывает полет ее мыслей.

— *Не здесь!* — отвечает нехотя молодая девушка и отворачивается, раздосадованная появлением цыганки, прервавшей ее размышления.

— Не здесь, доченька, не здесь, — поддакивает Мавра, — вишь, тут омут, он не даст венку поплыть. Все бу-

дет его на одном месте кружить. Поди чуть дальше да брось венок, загадай на своего милого, поженитесь этой осенью или нет?

— Поженимся, поженимся! — отвечает гордо Тетяна и добавляет раздраженно: — Брошу венок, где захочу. — И с этими словами отходит от цыганки на несколько шагов. Хотела бросить венок, никем не замеченная, одна-одинешенька, а тут Мавра не дает.

— Бросай, где хочешь, доченька. Бросай, где хочешь! — говорит примирительно Мавра, однако не трогается с места. Это еще больше раздражает упрямую девушку, которая не выносит ничьей власти над собой, и она отходит от цыганки еще дальше. Но не успела она сделать и нескольких шагов, как вдруг ее словно какая-то невидимая сила потянула обратно, на прежнее место. Она вернулась и сняла с головы венок. Потом, не произнеся ни слова, бросила изо всей силы венок в воду около камня... Венок сильно заколыхался и, покружив несколько минут по тихой воде, начал, точно управляемый из-под сверкающей поверхности невидимой силой, чуть заметно продвигаться вперед.

Но уплыл недалеко.

Тетяна с широко раскрытыми глазами стояла, склонившись на берегу, в полной неподвижности. Позади нее, согнувшись пополам, следила за венком цыганка.

Тяжелая минута... молчанье...

— О! о! о! — вдруг вскрикнула Тетяна и в испуге простерла над водой руки.

Как раз до середины реки доплыл ее венок, и тут его подхватил водоворот. Покружил с минуту на одном месте, поиграл. И вдруг что-то его потянуло в глубину, и Тетяна не увидела его больше.

Молча повернула она свое побледневшее лицо к старой цыганке, которая в свою очередь, неподвижно застыв, уставилась тревожными глазами на воду. Потом она серьезно посмотрела на девушку.

— Не посватает тебя этой осенью твой хлопец, — отозвалась она, наконец, не задумываясь, — не посватает.

Тетяна отвернулась.

— Это мы еще посмотрим! — ответила она высокомерно и повела опущенным взглядом по воде.

— «Посмотрим», говоришь, доченька? — спросила с явным укором Мавра.

— Посмотрим! — ответила по-прежнему высокомерно

девушка, но будто уже чужим голосом, и, отвернувшись от реки, ушла...

* * *

Прошло некоторое время.

Настка отправилась со своими родителями на богомолье в далекие края, не простившись с Грицем. Она страдала, ведь Гриць почти все лето избегал ее, навещаясь лишь изредка. Но она не выказывала ему своего огорчения и терпеливо ждала, когда он сам к ней вернется, как бывало уже не раз прежде, если их что-то разлучало. Мысль, что он мог увлечься еще какой-либо девушкой, ей доныне и в голову не приходила. Обычной причиной разлуки бывало странное непостоянство его натуры, с которой он не мог совладать, оно то порой гнало его из дому, то заставляло с большим увлечением работать; тогда он по целым неделям не заходил к ней.

Но все же и тогда он хоть на минутку-две, а показывался, — заглянет к ней, спросит что-нибудь, особенно же если его за работой заставляло ненастье; тогда он хоть украдкой, а забегал к ней.

А этим летом он лишь изредка заглядывал вечером, и то не надолго, а уж в воскресенье, в праздник его точно ветром сдувало...

«Куда он ходит? — спрашивала себя Настка и удивлялась. — А может, и вообще никуда не ходит?»

Это первое. А второе, почему он не рассказывает ей, как бывало прежде, где был, если уж отлучался?

Они же ведь давно тайно обручились и ждут только позволения родителей справить свадьбу. И именно теперь он начинает ее забывать. Именно теперь. Болело сердце, предвещая беду, и бывали минуты, когда она горько жаловалась на его неблагодарность и равнодушие, на странный нрав и порой, делаясь с матерью, плакала.

Она даже собралась к ворожейке-цыганке, о чьей сказочной силе и власти слышала, но все побаивалась. А кроме того, и стыдилась. Ворожейка, как она слышала, жила где-то отшельницей, в лесу, на горе Чабанице, идти к ней пришлось бы не одной. А ей было не с кем. И если даже, говорила себе Настка, она и пойдет к ворожейке, — что скажет ей? Что милый изменил? Она этого в точности не знает. Не раз и не два уверял он, что только ее одну любит, ее, единственную на свете.

И о чем спрашивать цыганку? О чем узнавать? Что ему не сидится дома, на одном месте? К этому она привыкла. Такой уж он уродился. Тут и ворожейка, кто знает, сумеет ли помочь? Вот разве что это, может, на него кем напущено?

Кем?

Не знает.

Дивчиной какой-нибудь?

Какой?

В селе все дивчата знали, что они обручились, ни одна между ними не встанет, разве что какая-нибудь молодка. Но молодок она не боится, хоть люди и говорят, будто есть среди них такие, что сводят мужчин с ума. Да она не боится. Гриць не из трусливых. На все село он один ничего не боится. Так зачем же ей к ворожейке?

Так раздумывала Настка и осталась дома, не пошла. Но когда родители заговорили о том, что отправятся на богомолье, в далекий край, она попросила взять ее с собой. Хотела богу помолиться, в своем грехе покаяться, о счастье попросить. И пошла. Не посоветовавшись ни с кем из подруг, собралась и пошла.

Грицю стало не по себе, когда он услышал от людей, что Настка отправилась с родными так далеко на чужину, не сказав ему об этом и не попрощавшись.

И его вдруг охватила скорбь и тоска по доброй, сердечной дивчине, которая за все лето ни единым словом не упрекнула его за равнодушие.

Правда, он не всегда был к ней равнодушен, а только то время, когда встречался с Тетяной. Только тогда он ее забывал. После каждой встречи с Тетяной он словно терял власть над собою, так глубоко она западала ему в душу. И, если бы мог, давно бы на ней женился. Она, как он сам говорил ей порой, — сводила его с ума, и каждое ее слово обвивало его как шелковая нитка палец. Однако, не видя ее долго, как вот теперь, когда отец будто приковал его к работе, он начинал тосковать по Настке, осознавая, что не может без нее. Какая она хорошая, какая нежная, как с ним во всем соглашалась, — и вдруг от него отвернулась. В этом он сам виноват. Он одиан. Она с ним всегда держалась ровно. Кроме него, никого не любила...

— Гриць, — шутливо улыбаясь, грозил он ему в последний раз (вспомнил он), после очередной разлуки. — Знать, ты нашел себе другую Настку, коль первую забываешь. Коль нашел, так крепко держи! — говорит, а сама

между тем привлекает его к себе, нежно обнимает. — Я найду себе другого Гриця. Не только свету, что в нашем оконце, не только хлопцев, что Гриць на границе. Как хочешь, Гриць, — добавляет она и, улыбаясь, заглядывает ему в глаза, обнимает и целует до тех пор, пока и он тоже не улыбнется, не прижмется к ней, не помирится.

И так всегда. Ровная, добрая, снисходительная, хитрая, как лисичка; трудно Настку не любить. Всегда у нее веселые, как небо, синие глаза, не знающие гнева, всегда на устах приветливая улыбка.

А теперь пошла на богомолье — слова не сказала, теперь, впервые, кажется, в жизни, по-настоящему обиделась на него. «Неужто проведала про Туркиню? — подумал Гриць с горьким чувством, точно придя в себя. — Господи! А коль уж проведала — хоть и не знаю откуда, кто и как мог бы ей сказать? — так я уж лучше сам расскажу ей обо всем. Это по крайней мере будет честно. Во всем сама убедится».

А если рассердится, он попросит у неё прощения. Она умная, простит ему, и они помирятся, как уже не раз бывало. Она у него добрая, мягкая, как воск, хоть к ране прикладывай. Она на все готова. Иначе поступить нельзя, жаль ее. Жалко ее оставлять. Он давно ее любит.

Так-то.

Одну жалко оставить потому, что уже давно ее любит, даже обручился с ней; другую не в силах покинуть, сердце не позволяет, — поэтому пусть они сами между собой уладят, если какой-нибудь из них что не по душе...

Когда вернулась Настка с богомолья, Гриць пошел к ней.

Дождался ее, наконец.

Вышла к нему, словно чужая. Высокая, статная, одна-ко исхудавшая какая-то.

Он взглянул на нее и пожалел в душе.

Во всем он виноват, заговорила в нем совесть.

И, поздоровавшись, спросил:

— Почему не сказала, что идешь на богомолье? Может, и я бы к вам присоединился, и я бы пошел. Почему скрыла и ушла без меня?

Или он ей уже безразличен? Она не любит его больше?

Вместо ответа Настка расплакалась.

Она его любит, как всегда любила, но он с ней не откровенен. Он сам ее избегает, так поступать нехорошо. Пусть

скажет по правде, куда он теперь ходит, и она простит ему, и все будет хорошо. Но сватов, знай это, — прибавила она с достоинством, — пусть присылает, потому что больше ждать ее родители не хотят. «Из-за этого Гриця, говорят, ветрогона, она еще чего доброго в девках до седых волос засидится». От обиды, уверяла она, и пошла на богомолье. «От обиды». Чтобы от него и от своего греха отмыться. Пусть он это знает. Говорит ему, чтоб раз и навсегда запомнил это. А теперь пусть сам признается. О ком он думает? Любит другую? Если любит, так пускай любит.

Гриць привлекает ее к себе, прижимает к груди.

— Да если я скажу, что из этого выйдет?

— Выйдет то, что нужно, об этом пусть не печалится, — отвечает она. — Ты только скажи.

— Да вот, — говорит он, наконец. — Тетяну Иванихи Дубихи в третьем селе отсюда знаешь? С черными бровями, первую богачку? Она его любит.

Настка поблелела.

— Туркиня?

— Туркиня.

— Та, с золотыми полумесяцами в ушах, что своими бровями всех мерит с головы до ног?

— Та самая, что бровями мерит.

— К тебе, Грицю, привязалась? — спрашивает едва слышно.

— Насмерть полюбила...

— А ты?

Гриць смеется, снова прижимая ее к сердцу.

— Обоих я вас люблю, обе вы одинаковы. Одна синеватая, другая чернобровая. Обе вы дивчата, только Настка — не Туркиня.

Настка стала серьезной, как никогда.

— Гриць! — говорит она. — Разве две души в тебе, что двоих любишь, двоих сватаешь, двоих обманываешь? Но знай!.. — прибавила она, и вдруг ее синие глаза сверкнули. — *Настку не бросишь.* Настку не обманешь.

— Пока я еще ни одной не обманул! — защищается Гриць. — Ведь еще ни к одной сватов не засылал.

— Но дорогу знал, когда говорил, что *любишь*?..

— Знал, Настуня. И теперь еще знаю, — отвечает он. — А все-таки жалко Туркиню. Что нам с тобой делать?

— Поженемся, — говорит решительно Настка и вдруг обвивает Гриця, словно большая змея.

— А Туркия, Настка? Я же ее не убью. И она, как ты, верно меня любила.

Настка опустила глаза, нахмурилась и с минуту будто раздумывала.

— Ты о ней не беспокойся, — ответила она, наконец. — Я беру ее на себя, сама с нею справлюсь, чтобы все было хорошо, чтобы она не проклинала нас, ни тебя, ни меня.

Гриць уставился на Настку, стоявшую близко от него, почти касаясь его грудью. Она уже опять была такой же, как всегда, доброй и ласковой, опять умела найти выход, когда он совершенно терялся. Не изменилась. Мудрая была, как и прежде.

— Что ты сделаешь с ней? — спросил он, наконец, робко, почти смиренно.

Настка рассмеялась. Потом, помолчав, обвила обеими руками его шею и устремила на него свои синие, теперь искрящиеся глаза, которые он так любил, и спросила:

— Ты очень любишь Туркиню, Гриць?

Гриць оттолкнул ее.

— Оставь меня в покое, Настя, — вскипел он, внезапно раздраженный чем-то в ее тоне. — Делай, что хочешь, но оставь меня в покое. Раз я все тебе сказал, теперь оставь меня в покое...

— А Туркия?

— Убей ее, если она стоит тебе поперек дороги. Я ее убивать не стану.

— И я тоже, Грицунь, — ответила Настка и захохотала, показывая белые зубы. — И я тоже, Грицунь!

— Так делай что хочешь. *Вы обе одинаковы!* А меня оставьте.

— *Мы обе одинаковы*, говоришь, — подхватила она, — и поэтому тебе все равно, кого посватать. Я давно уже твоя... ты сам первый дал слово, теперь уже не бросишь, *меня* ты не обманешь...

— А Туркия? — ввернул вновь Гриць.

Настка скривилась.

— Не печалься о ней, — сказала она кратко. — Я ее не убью.

— И я нет, Настуня. Но что ты с ней сделаешь? — попытался Гриць тревожно.

У Настки снова заискрились глаза, даже позеленели, и она опять рассмеялась.

Гриць рассвирепел.

— Чего опять хохочешь? Мне не до смеха!

— А мне до смеха, — ответила Настка. — Ты, Гриць, образумься, — стала она вдруг поучать его с присущей ей спокойной рассудительностью, благодаря которой всегда брала верх над ним, над его двойственным характером. — Или ты вправду думаешь, что ты только один на свете? Что, коли она за тебя не выйдет, то не найдет другого? Сохрани бог иметь такой разум, как у тебя!

Гриць умолк.

— Да, найдет, — говорит он вдруг. — Но будет проклинать, будет попрекать...

— Кто, Гриць? Туркия? — спрашивает Настка. — Неужто ты ее боишься?.. Кто будет проклинать? — повторяет она вызывающим тоном, заранее отвергая все возражения, которые может от него услышать.

— Иваниха Дубиха, — отвечает Гриць. — Она не шутит...

— И пусть, — говорит пренебрежительно Настка. — От проклятий я нас уберегу. Ты мне только расскажи про нее все, что знаешь...

Гриць смешался.

— Что рассказать?.. Красивая... и уж...

— Правда ли она такая богачка в своем селе?

— Такой ее люди считают. Я не считал отар ее овец. Скотину ее на водопой тоже не гонял. Раз говорят — первая богачка, так, верно, уж богачка.

— Так, так, Гриць, не кручинься, — начала снова успокаивать Настка. — Она и без тебя замуж выйдет.

— Да я знаю, что выйдет. Жалко только так говорить. Настка выпрямилась... а была она высока.

— А меня не *жалко*? — произнесла она голосом, дрожавшим от давно накипевших слез и огорчений.

— Да как не жалко, — успокаивал ее Гриць. — Жалко, голубка. Даже и себя жалко, что вот двоих полюбил, а пока еще ни одной у меня нет. Одну взял бы и другую бы не оставил. Одну любил бы, а другую бы ласкал. Одну бы сватал, с другой бы венчался. — И с этими словами он как-то странно рассмеялся. — Что мне делать?

— Двоих не любить.

— Так не любите... вы! Брось меня, Настка. Зачем меня удерживаешь? Если ты меня оставишь, засватаю Дубивну...

Настя расплакалась.

— Бога ты не боишься? — спросила она сквозь слезы. — *Теперь* так говоришь? Какая у тебя душа?

— Станем когда-нибудь все перед богом. Я, Дубивна и ты. Молчи, не плачь. Слышишь? Я, Дубивна и ты! И он нас рассудит. Молчи, не плачь, — утешает ее Гриць и снова привлекает к себе девушку. — Чем я виноват, что так вышло? Разве я хотел этого? Так было суждено или это, может, на меня напущено. — Последнее слово он произнес улыбаясь, однако Настка не обратила на него внимания.

— Зачем ходил ты к Туркине, коли у тебя уже была я? — спросила она.

— Потому, что приворожила, — отвечает он. — Первая чаровница. Красивее всех в селе. Черными бровями да очами приманивала, красными маками в волосах приворожила. Вот и ослепила душу и разум. Чего ты хочешь? На то ж я хлопел, на то ж у меня и сердце... Молчи, не плачь! — уговаривает он. — Я еще не умер, вот когда умру и ты останешься вдовой, тогда и плачь или даже голоси, а пока еще смейся. А не хочешь смеяться, так люби по-прежнему, иначе брошу тебя и уйду к Дубивне. Она не плачет.

Настка затрепетала в душе от этих слов, но успокоилась и вытерла слезы.

— Я тебя люблю, Гриць... ты же мой, — сказала она и, приблизившись к нему, нежно обняла, как прежде. — Мы ведь обручились, Гриць... Слышишь? — спрашивает она, просит, а в ее сверкающих тревогой глазах — угроза. — Мы дали друг другу слово. Меня ты не обманешь...

— Слыхал уж. Когда ты кончишь? — вскипел опять Гриць. — Что знал, я сказал тебе по совести, а теперь оставь меня в покое. Чего ты хочешь? Чтобы я ушел куда глаза глядят? Мне это не трудно — уйду.

Настка опять обнимает его.

— Не куда глаза глядят, Гриць... — успокаивает она его, не помня себя, — а венчаться, Грицунь...

— И обвенчаемся... но... — и внезапно оборвал речь, отстранив от себя девушку, чью решительность знал и которой боялся.

— *Никогда больше к Туркине не ходи,* — приказывает вдруг внушительно и строго девушка, пронизывая его своими ясными глазами, которые даже потемнели в эту минуту от происходившей в ней внутренней борьбы, и добавляет: — *Чтоб мы да из-за нее не поженились!* К ней придет другой. Она без тебя не пропадет, она богачка, Гриць, а я... — и смолкла. Слезы снова навернулись ей на глаза, и она закрыла лицо руками.

— Не бойся, молчи! — успокаивает ее Гриць. — Разве я тебя покидаю?.. Не пойду никогда к Туркине. Не веришь? Потому, может, что я сказал, будто она самая красивая на селе? Так это правда, что красивая, правды за пазуху не спрячешь, — говорит он, а сам улыбается в усы. — Не бойся...

У Настки опять заискрились глаза.

— Гриць! — погрозила она рукой. — Меня ты не обманешь, я тебе это еще раз говорю, а к Дубивне не ходи.

Гриць молча отвернулся от нее и, пройдя несколько шагов, крикнул:

— Будь здорова!

Она не ответила, но тут же, одумавшись, мгновенно оказалась возле него:

— Не пойдешь?

Он оглянулся:

— Не пойду!

— Нужно кончать, Гриць.

— Нужно.

— Я уж сама закончу. Ты только на глаза ей не попадайся, а об остальном не беспокойся.

— Я не беспокоюсь! — ответил он и остановился. — Беспокойтесь вы. Вы все одинаковые. Оставь меня в покое... — и хочет идти.

— Гриць, я готовлю рушники...

— Готовь на осень...

— Да осень вот-вот уже.

— Ну и ладно.

— А то, Гриць, утоплюсь, пропаду! — жалуется, грозит Настка.

— Ничего! — сказал он и остановился. — Вы не пропадете. Скорее я помру...

— Я не допущу, Грицуня...

— Ишь ты! — сорвалось вдруг у Гриця, и не сказав больше ни слова... ушел...

* * *

Старый Андронати притащился в село, где жил Гриць со своими родителями, и уже чуть ли не второй раз обошел все дворы, прося милостыни. И снова, как обычно, подала ему синеглазая Настка едва ли не щедрее всех. Она любила подавать ему милостыню, за то что благода-

рил он искренно и красноречиво, умел сказать такие приятные слова, что слушал бы его не наслушался.

Так было и на этот раз.

Поблагодарив и призвав благословение на ее голову раз десять, он еще несколько раз низко поклонился молодой бойкой дивчине за то, что она была не только щедра на подарки, но и сама ему нынче калитку отворила, чтобы не утруждался. Но сегодня — стоит ему только оглянуться — он все время видит ее возле себя. Провожает его, щебечет ласковые слова, советует поберечь в горах свои старые ноги, а то горы — погибель для ног, если кто родом не оттуда...

Так она говорит и вдруг останавливается...

И, постояв с минуту, в конце концов садится и просит присесть и его.

Старик удивлен, но не садится. Он только оперся на свою клюку и глядит на нее. Какая она добрая и ласковая, эта дивчина, какая милосердная! И не только теперь она такая, а всегда, с тех пор, как он ее знает.

— Господи, благослови ее, господи, благослови! — повторяет он то и дело и собирается идти дальше. Однако Настка поднимается и удерживает его.

— Дедушка, — говорит она. — Сегодня я хочу с вами кой о чем поговорить. Вы хоть садитесь, хоть стойте, но сказать я должна.

Старик удивился.

— Говори, дитятко, — отвечает он, — все, что тебе надобно или что хочешь узнать, а я уж лучше постою. Так уж привык вечно на ногах, что лучше мне постоять.

— Дедушка Андронати, — начала Настка, окидывая ясным взором далекие вершины, словно вспоминая что-то, собираясь с мыслями, — вы меня, дедушка, знаете. Меня и Дончукова Гриця, с которым не раз разговаривали, и знаете нас не первый день. Знаете, чьих я родителей, чьих он родителей. Потому и послушайте, что я вам расскажу. А после того, как расскажу, я о чем-то вас попрошу.

— Говори, душенька, голубушка, — отвечает старик и еще крепче опирается на клюку, внимательно глядя на девушку и стараясь не упустить ничего из ее слов. Она ж такая добрая, такая синеглазая. Славное дитя, хоть куда. Никогда с пустыми руками из хаты не отпускала, а частенько и угол для ночлега готовила, в то время как другие с подозрением поглядывали, а то и вовсе в усадьбу не хотели пускать.

— Мы любимся давно, дедушка Андронати, как вы сами догадываетесь, я и Гриць Дончуков, — признается девушка.

Старик улыбнулся.

— Вот новость! — произнес он. А потом живо добавляет, и в голосе его нескрываемая теплота: — Кто бы такого не полюбил! Много я бродил по свету, но такого красивого, живого хлопца, как Гриць Дончуков, как ты говоришь, нигде не видел. Когда на коне едет, похож на самого святого Георгия... Хорош да пригож, благослови его боже! Да притом добрый, и разумный, и сердцем мягкий. — И с этими словами старик, будто что-то припомнив, снова рассмеялся. — К красивым он так и липнет, правда, голубка? — спрашивает он, посмеиваясь.

— И да и нет, дедушка, — отвечает Настка, помедлив.

— В том-то и штука, белая ты моя голубка...

— Гриць только меня одну по-настоящему любит...

— А ты откуда знаешь, как хлопцы любят? — перебивает он. — И к тому же такие, как твой Гриць! Одну или нескольких?

— Потому что он сам мне рассказывал.

Дед даже присвистнул сквозь зубы от удивления и опять засмеялся.

— Тогда о чем же твоя печаль, коли он тебя любит? — спрашивает он. — Или перестал уже любить, хочет к другой сватов засылать?

— Э, нет, дедушка, — отвечает нетерпеливо Настка. — Гриць не таков. Беда в другом, и вы нам поспособите.

— Я? А чем я вам могу помочь? — спросил он. — Где же ваши родители, разве они не хотят, чтобы вы повенчались?

— И это, дедушка, не то. Они не против. Повенчаться — мы повенчаемся... только вот... — и смолкла.

— Только что? — спрашивает старик более оживленно. — Зачем я вам нужен? Я, старый, бедный, сам живу из милости людской, от людских даяний.

— Правда, дедушка, — отвечает сочувственно Настка. — Но если вы нас на этот раз выручите, мы, как поженимся, возьмем вас к себе. Навсегда останетесь у нас; будем о вас заботиться, пока воля божья.

Старик рассмеялся.

— Это ты так лишь говоришь, дивчина, — торгуется он, — что возьмешь старого цыгана к себе. А только выйдешь замуж, меня и знать не захочешь!

— Э, дедушка, — возражает Настка и смеется над недоверчивостью старика. — Не такие мы, дедушка, не такая я неблагодарная, и Гриць не из таких. Сами вы скажали, что у него сердце мягкое. Значит, верьте!

— Ладно, в чем же дело? — спрашивает старик, заинтересовавшись. — Зелье вам какое-нибудь нужно? Со мной его нет. Надо еще собирать.

— Да нет. Не зелье, дедушка, — говорит Настка, — а только ваш старый разум и слово такое.

— Сло-во? Ага! — протянул дед с удивлением.

— Слово, дедушка, и разум...

— Говори же, чтоб я знал.

— Дедушка, — продолжает Настка, глубоко вздохнув, будто готовясь тяжело взмахнуть руками, — дедушка! — и ее голос дрожит, и губы ей не повинуются. — Слушайте: за горой Чабаницей, за Белым камнем, как его называют, живет одна мельничиха — вдова, по имени Иваниха Дубиха. Сама Иваниха Дубиха богомольна. Она первая богачка в селе, к бедным милосердна. Вот все, что я знаю про старуху. Но у нее есть дочка. Одна-единственная, дедушка, изнеженная, как птичка, и зовут ее люди Туркиней.

— Аг-га! — протянул старик, словно вдруг что-то вспомнил. Однако умолк в ожидании дальнейшего.

— Эта Туркиня, дедушка, как зовут ее в селе, чаровница и приворожила к себе Гриця. Верно, злым зельем сердце его отняла, а со своими черными бровями стала нам поперек дороги. Были у меня сваты, и мы уже заручены, да только сердце Гриця неспокойно. Меня обнимает, а Туркиню любит; меня целует, а по ней тоскует. Не может ее забыть, все она ему снится, с красными цветами в волосах, с нежными словами на устах. Помогни, дедушка, — молила девушка, сложив руки, как для молитвы. — Ты же Грицушу знаешь, у него мягкое сердце, будет он колебаться между нами двумя. Будет горькое житье и ему и мне. А все из-за нее, из-за черных бровей, из-за злого зелья, из-за ее наговора. — И, произнеся это, Настка умолкла и, казалось, лишилась чувств, хоть и оставалась на ногах, а старик призадумался.

— Говоришь, очень красивая? — спрашивает он, помолчав.

— Красивая, как княгиня. Черные брови у нее, говорит Гриць... Глазами манит, словно звездочка ясная, а цветами привораживает. Что мне делать, дедушка? Помогни!

— И богачка, говоришь?

— Первая на все село, говорят.

— А мать — богомольная?

— Как монахиня.

— К бедным милосердная?

— Этого уж не знаю. Говорят, что добрая, но очень строгая. Говорят, она — точно пани.

— А дочка привораживает? — спрашивает дед недоверчиво.

— И бровями, и зельем, и красными цветами, которыми всегда украшает себя, к себе притягивает... Ох, дедушка! — застонала она в отчаянии. — Помогни!

— Как же тебе помочь, голубка? — спрашивает старик опять и задумывается над судьбой Гриця. Жаль потерять расположение этой белокурой Настки, жаль и Гриця — нельзя допустить, чтобы он жил с раздвоенной душой. Вот и его Мавра тоже двоих полюбила, а в конце концов свою долю загубила...

Старик вздохнул и, казалось, еще больше согнулся.

— Скажи, что мне делать, я так и сделаю. Только зелья у меня нет, нет сил его собрать. Вот разве примолвить что-то я еще могу. Словами Дубивну отверну; а для иного уже не гоюсь, старость... Кабы мне Мавру...

Настка оживилась. Ее синие, как небо, и всегда ясные, веселые глаза замигали вдруг каким-то странным зеленоватым блеском, и она отозвалась:

— Я вас научу, дедушка. Я уже придумала, чем ее напугать, чтоб она оставила моего Гриця. А вы помогите. Разве не жалко вам Гриця, если он жизнь свою испортит, на мне женится, а по ней будет убиваться? Я ей сначала через вас пригрожу... а коли не поможет... знаю, куда пойду... На горе Чабанице живет одна ворожейка, она все умеет... К ней пойду. Но сначала идите вы, словами пригрозите. Пойдете, дедушка? — просит Настка.

Старик раздумывает.

— А позовешь старика на свадьбу? — торгуется он, а сам мыслями все время с Грицем...

— Ой дедушка, приходите! — воскликнула обрадованно девушка. — Только передайте мои слова Дубивне, как следует напугайте, и от себя поругайте.

— Ну, говори, голубка, — отозвался дед. — Ради счастья Гриця пойду на все, а уж коль пообещал, то сделаю. А коль заклян — то будет заклято. Пусть, наконец, Гриць успокоится.

— Так, дедушка, — подхватила Настка и повторила: — Пусть, наконец, Гриць успокоится!

— Так скажи-ка, голубка, как ты хочешь, чтобы я сделал, — спросил снова дед.

Настка выпрямилась, глубоко вздохнула и начала:

— Разыщи, дед, Дубивну, попроси милостыни и, благословив ее, скажи ей:

«Я прослышал, Туркия, что ты любишь Гриця, самого красивого хлопца с венгерской границы; что ты привораживаешь зельем, цветом и наговором; что ты творишь зло, отнимаешь счастье.

И слышал я, Туркия, что Гриць тебя не любит, он давно уж другую голубит. Синеокою Настку он выбрал и скоро уж с ней повенчается.

Чего ты от него хочешь, прекрасная Дубивна? Чтобы невесту бросил, к тебе пришел? Да ведь тебя проклянут не только невеста, но и все люди, кто только про тебя прослышит. И пойдут над тобой по всему селу смех да издевки, и останешься ты со своим горем одна, точно страшное видение.

И слышал я, Туркия, что у тебя есть богатство, значит, ты хлопцев себе найдешь и кроме Гриця. Невеста Гриця, — знай это, — из-за тебя плачет, от горькой обиды на тебя страдает, тяжело проклинает. Гриць тебя еще не видел, а ее уже любил, тебя ласкал, а ее уже сватал. Поэтому он женится на ней раньше, чем тебе обещал сватов заслать, тебя посватать.

И слышал я, Туркия, все, что говорю теперь, от невесты, которую Гриць берет в жены. Сам он ей жаловался, что ты всему виной, что завлекала его, голову вскружила.

Подняв черные брови, словно бы дивилась, а сама разума лишала. Красными маками украшалась, а сама завлекала. По лесам бродила, эхом играла, а сама опутывала...

Теперь он опомнился, тебя он чурается, черных бровей боится, с русыми ласкается. К тебе уж не придет, и не жди нигде, разве когда увидишь на вороном коне. Тогда отвернись, чтоб люди не знали, что Гриця любила, у другой отнимала.

И Гриць, говорю я, давно с *Насткой* сговорился, а тебя, Туркия, и в мыслях нет. Разлюбил он тебя, чаровница, и не придет к тебе больше. Распрощайся с ним...»

Так вот, дедушка, — закончила, как отбарабанила, Настка, вздохнула, будто сбросив с души бремя. И отвернулась.

Старик долго еще стоял, молча, словно что-то обдумывал. Наконец, отозвался:

— Лучше теперь, чем слишком поздно. — И, вспомнив вдруг Мавру, помрачнел, задумался. Затем прибавил: — Не сейчас я передам, дочка, то, что ты наказала, а только после третьего оглашения, чтобы не имела ведьма времени свадьбу задержать. Черные брови с давних времен лихо причиняли, и коли кто не знает от них снадобья, тот гинет, точно в глубоком омуте. Слава богу, доченька, что ты синеока, лихого не творишь, добро сеешь. Я ей передам все твои слова да еще от себя добавлю, что сам знаю. Пусть она идет своей дорогой, не стоит у Гриця на пути. Я за него молюсь, давно уже молюсь, он мне как родной, ради него я все сделаю. Не беспокойтесь больше ни о чем, славные мои дети, разве лишь о том, чтоб добрую свадьбу справить. И бедных тоже позвите. Деда не позабудьте. Дед вам споет, откуда Гриць родом, почему он тут и почему тут дед. Теперь дай вам боже счастья, доченька моя синеокая, а за Грицем смотри, от нее стереги. Посверкай глазами, как та чернобровая, и он, мягкий, как нам известно, за тобой пойдет, а *ты* забудет. Дед свое сделает. Дубивну отвернет, посторожит Грицево счастье — и все будет ладно.

Старик кивнул девушке головой и, не сказав больше ни слова, ушел. Настка тоже побежала обратно в хату, принялась за работу и все за работой пела...

* * *

Оставалось три-четыре недели до покрова. Как-то Гриць опять выехал по приказанию отца в соседнее село по делам и поскакал на этот раз на своем коне через гору Чабаницу и притом по белой тропинке. Прошло уже несколько недель, с тех пор как он не приезжал сюда, к Тетяне. Во-первых, как-то не было времени, так как отец точно цепью приковал его к работе, а во-вторых, он боялся Настки. Несмотря на всю свою доброту и уступчивость, она, с тех пор как узнала о его отношениях с Тетяной, готова была мчаться за ним хоть сюда, лишь бы не допустить его свидания с Дубивной...

Проезжая теперь эти места шаг за шагом, он не переставал думать о девушках.

Чем это кончится?

На Настке он обязан жениться, он ведь уже и посватал

ее. Но о том, что будет с Тетяной, он и сам себе не представлял. После покровы его свадьба с Насткой. А та еще ничего не знает, сватов ждет.

Давно уж он ее не видел.

Правда, он несколько раз приезжал сюда тайком, да как-то так в последнее время получалось, что, когда она приходила в лес, — он в это время был на работе. Когда же он тайком выезжал к ней в воскресенье, — она почему-то была нужна матери и не являлась. Вот так мало-помалу и разошлись их пути, несмотря на то, что они любили друг друга. Да бог знает, не к лучшему ли это, хоть она ему и мила, очень мила. И как же она ему мила! Да все понапрасну...

Но свидеться они все-таки свидятся, хоть Настка и противится этому. То, что он дал слово Настке больше никогда к Тетяне не приходиться, его не слишком беспокоит... Будь что будет, а он *любить* не перестанет. На Настке он женится, а Тетяна как?

«Тетяна?» — повторил испытующе какой-то внутренний голос, напомнивший ему чуть ли не голос Настки, но тут же смолк.

Как с ней поступить?

Двоих сватать невозможно. Пусть теперь обе уладят это между собой, если уж так случилось. Пусть Настка все сделает. Она так сказала. Она догадлива, любой выход найдет, она его любит, про Туркиню знает, пускай теперь сама все улаживает. Убить — не убьет... Чем он тут может помочь? Поднимет шум? Девчата все одинаковы, сами себе беду накликают, а потом плачутся, мозги себе сушат.

Что ему от них?

Счастье, может быть? Гриць, помрачнев, вздохнул. Какое уж там у него счастье? Что двоих сразу любит? Только его и счастья, что чувствовал себя в лесу с Туркиней, как в раю, что любила его всей душой, но долго ли это было? Вот вдруг *Настка* встала между ними, и все словно окаменело — пришел конец. И добра Настка и ласкова, лучшей он не знает... и не то, чтобы немилая стала, но он полюбил Туркиню. Нет, Дубивна запала ему в *самую душу*, и забыть ее он не в силах.

Но теперь-то, как он с ней поступит?

С матерью ее?

Иваниха Дубиха не шутит.

Кабы хоть с Тетяной повидаться, второпях друг другу

улыбнуться, все бы легче стало на сердце, и будь что будет, — а так...

А дальше?

«Что дальше?» — спрашивает он себя и не находит ответа.

«Дальше... Как-нибудь уж обойдется, — сказала умная Настка. — Дубивна красива и богата, выйдет замуж и без тебя. Что тебе беспокоиться?»

И верно.

Что ему печалиться?

И у дивчат свой разум. Пусть беспокоятся сами. И они любили. Тетяна тоже любила.

Отчего она теперь спряталась? Узнала про его свадьбу с Насткой?

Может, и узнала...

Ой Туркиня, моя ласточка, какое у тебя сердце?

И вот так, раздумывая о себе и о дивчатах, проезжая знакомые места вдоль белой тропинки, бросает он взоры то налево в глубокий овраг, то направо, на Чабаницу с ее Белым камнем, где также с нею встречался.

И все же надеется, что вдруг выйдет к нему навстречу Тетяна. Нарядная, улыбающаяся, украшенная красными цветами, и скажет, как обычно: «Это я...» Однако, как ни всматривается он, как ни жаждет его сердце успокоения от встречи «с нею», — «она» не выходит. Не выходит, и не слышно ее голоса.

И вздыхает скорбно Гриць, хмурит угрюмо брови. Должна была выйти, — жаждет его сердце; он же здесь. Правда, он ее не посватал, как обещал, он на ней не женится, принесет ей горе; но кто в этом виноват? Разве он один?

Оба виноваты...

Поэтому пусть бы вышла, пусть бы всегда любила. Была бы такой, как раньше... хоть один раз еще... Один раз...

— Туркиня! — почти бессознательно крикнул он.

«Туркиня!» — прокатилось эхо на противоположной лесистой стороне горы и заглохло.

— Ты тут? — бросил он с неопишуемой тоской в голосе новый призыв... и ждал.

«Тут», — откликнулось эхо, и стало тихо... Как ни прислушивался к малейшему шороху — ничто вокруг не шевелилось...

Гриць погрузился в раздумье и перестал ждать

Знал. Теперь уж не увидит ее.

Узнала, что он посватал другую, и не выходит, плачет...

Погруженный в думы, не заметил Гриць, как небо заволокло тучами. Холодный ветер закачал деревья, зловеще прогремело, сверкнула молния. Раскатам грома нет конца; вороной конь Гриця в диком испуге взвился на дыбы.

«Что-то больно встревожен конь, не к добру это», — думает Гриць, озираясь.

Небо зловеще. Черные, густые тучи. В лесу быстро темнеет, падают первые крупные капли дождя. Сначала редкие, а затем все гуще, все сильней. Он подгоняет коня, тот несется размашистой рысью, дальше по белой тропинке, вверх, а тем временем раскаты грома потрясают всю гору Чабаницу и, словно перекатываясь через все соседние, где-то остановившись, замирают.

Казалось, два дождя льется на Гриця. Один — из разорванной тучи, а другой — с пихт. Гриць пытается отыскать взглядом место, где бы можно было хоть на миг укрыться от дождя и успокоить, усмирить перепуганного грозой коня. Узкая белая тропинка, обвивающая Чабаницу и тянущаяся у края оврага, размокла, и резвый конь, несясь все дальше в гору, все время скользит.

Опасно было ехать над самой пропастью на испуганном коне. Гриць слез с коня и повел его в поводу, оглядываясь по сторонам.

В пропасти-овраге шумит и клокочет увеличившийся вдвое от ливня бешеный поток, увлекает за собой все на своем пути и мчится дальше.

То там, то сям с горы скатываются смываемые дождем мелкие камни и исчезают внизу в воде...

Вдруг Гриць останавливается.

В стороне, на бугорке, который гора словно выдавила из себя и который совершенно скрыт от взоров густыми ветвями разросшихся здесь пихт, стоит, а вернее сказать, прячется под ними маленькая хатенка-колыба. Старая и покосившаяся.

Белая тропинка, по которой идет Гриць, пробегает также и мимо нее. И хотя тропинка не кончается у ее двери, а тянется дальше, может быть и до самой подошвы Чабаницы, все время опоясывая гору, — этого он не знает, — а все же хатенка представляет собой некоторое убежище.

Стоит хатенка и даже будто клонится над пропастью и показывает с одной своей стороны покривившееся оконце, а с другой — такую же перекошенную дверь.

Гриць мигом решается.

Он войдет, переждет грозу, которая, точно адский котел, кипит над лесом и горой, а затем поедет дальше.

Задумано — сделано. Останавливается, привязывает возле хаты коня, с той стороны, где не так хлещет дождь, а сам направляется к двери.

Здесь он — высокого роста — наклоняется, так как дверь в хатенку, низкая и покосившаяся, с трудом может пропустить рослого мужчину.

Но тут его прямо ужас охватывает.

Как раз в ту минуту, когда он отворил дверь снаружи, кто-то нажал на нее и изнутри, и не успел он сообразить, в чем дело, как перед ним оказалась, будто вынырнув из-под земли, какая-то старая цыганка. Седая, косматая, с черными сверкающими глазами, — она улыбнулась.

— Входи, сынок, входи, — приглашает она с деланным смехом, за которым скрывается тайный страх и неуверенность. — Входи в хату. Уж скоро год, как я тебя дожидаясь, карта предсказала. — И, уступая ему дорогу, она прижимается к черной задымленной стене.

Гриць, увидевший перед собой страшную, как привидение, цыганку, в первый момент заколебался. Но, взглянув еще раз в лицо цыганке, глаза которой светились какой-то хватающей за сердце тоской, смело шагнул внутрь.

После свежего лесного воздуха в лицо ему неприятно пахнуло дымом из печи. Он постоял с минуту, пригнувшись, осматриваясь. Никогда не приходилось ему добираться до этой хатенки, несмотря на частые свидания с Тетяной летом здесь, в лесу. Лишь сегодня ненастье завело его сюда! Какая нужда, какая нищета! Несколькими яркими ветхих лохмотьев, две цыганские торбы, клюка... Какой-то сундучишко, заваленный свежими травами, на ветхой, законченной, пустой полке краюха хлеба, на жердинке под потолком старый красный платок, какого не увидишь в окрестных селах, рядом несколько связок сушеных грибов, у печи лавка, на печи черный, как цыганские космы, кот, повыше, на печном карнизе, черный ручной ворон с толстым клювом и блестящими глазами — вот и все.

— Садись, сынок, посиди у бедной цыганки! — при-

глашает Мавра вошедшего Гриця. — Присаживайся, не побрезгуй. Вот я тут, горемыка, одна на весь лес, и редко человеческая нога переступит мой порог. Живу, сам видишь, как бог даст. Попадут что добрые люди — вот и сыта. Не попадут — тогда корешками питаюсь, как и все наши бедные цыгане. Вот оно как. Садись.

Гриць молча садится и все глядит на цыганку, которая кланяется ему почему-то чуть не до самой земли, напоминая этим старого Андронати. Через минуту поднимается и смотрит сквозь вставленное прямо в стену стекло, напоминаящее оконце.

— Ничего, ничего, — успокаивает его Мавра, — дождь еще льет. Посиди маленько у бедной цыганки. Глянь-ка, я одна-одинешенька на всю гору, на весь лес. Коли порой кто приходит этой тропинкой, то я еще вижу человеческое лицо, а коли нет — так и нет. Посиди, сынок, — говорит она оживленно и при этом заглядывает пристально ему в глаза. Глаза ее засверкали вдвое ярче обычного.

— Давно уже не видала я такого красного царевича, как ты, — говорит она и опять кланяется так же низко, как раньше. — Давно, дав-но, — и вздыхает.

— Может, это ты та самая цыганка, про которую говорят, что она умеет ворожить и в зелье толк знает? — спросил вдруг Гриць, тоже не спуская глаз с цыганки.

— Почему я знаю? Цыган много на свете, — ответила Мавра. — Но ворожить я тоже умею, да еще как! Что бы ни задумала, все узнаю. Говорю же: еще как! И в зелье тоже разбираюсь. Тебе не нужно ли какого? — спросила она заискивающе. — От доброго или от злого! Гай, гай! — завела она по привычке. — Гай, гай! — и не сводит пристального взгляда с молодого хлопца.

Грицю стало не по себе под взглядом этих больших черных глаз, полных печали, и которые, казалось, ничего не видели теперь в хате, кроме его лица. Словно упивались им.

— Но я слышал, — начал опять Гриць, — что та гадалка не все время тут живет, а переходит с места на место. А у тебя, вижу, и хата есть.

Мавра испугалась.

— Нет, сынок, — уверяла она, — я та самая гадалка, о которой ты слышал. Другой ни в одном селе по всей округе нет. Ой, нету, нету такой несчастной, как Мавра, что весь свой век молодой на чужбине загубила, больная

без памяти в лесу очутилась, на милость добрых людей оставленная. — И, проговорив это, расплакалась...

Гриця цыганка стала занимать.

Дождь не прекращался, гром все еще грозно грохотал, и о возвращении нечего было и думать.

— Как загубила ты свой век? — спросил он и, набив трубку, протянул цыганке остатки табака, который она жадно схватила и тотчас вытащила из-под золы на шестке свою трубку.

— Загубила, сынок, загубила, — начала она и, набив трубку, закурила. — Вот я гляжу на тебя, и мне то плакать, то смеяться хочется. Господи милосердный! Давно я не говорила ни с одним человеком о своем горе, да и редко кто ко мне заходит. Да и кто захочет слушать бедную цыганку?.. Кинут, точно голодной собаке, кусок хлеба или подадут мучицы, а то и копейку — и проваливай, говорят, чтоб чего из хаты не утащила. А я, сынок, — продолжала она горько, — хоть бы что и утащила, так, гляди ж, какая я бедная, какая одинокая. Кто заработает для меня? Мой кот? — спросила она, указывая на своего черного друга. — Он не заработает. Да кабы не мой грех, так я бы и сейчас была при муже. Мой муж, сынок, был цыганским вожаком. Его звали Раду. А мой отец зарабатывал скрипкой себе на хлеб. Я была у родителей единственным ребенком.

Мавра снова заплакала.

— А моя мама, сынок, моя мама, — уверяла она Гриця, — как она в молодости плясала! — и покачала головой, будто сама удивлялась. — И я тоже, сынок! Еще сызмала... сызмала. Бывало, как начну плясать перед панами на Мадьяршине, так аж в глазах у меня рябит. А чаще — вокруг огня. Из-за этого проклятого танца и загубила я свою долю.

— Из-за какого танца? — спросил Гриць, не понимая.

— Да из-за того танца, что молодым цыганкам и помимо гадания дает заработок. Но зато и танец же, сынок. Смотри! Я тебе покажу, чтобы знал, у кого был! — И старая, севая Мавра начала тут же перед молодым хлопцем танцевать, легко, грациозно, почти все время на пальцах, ловко кружась и изгибаясь, подпевая в такт.

Гриць, не мигая, молча некоторое время глядел на старуху. Его охватило невыразимо грустное чувство к этой бедной, одинокой женщине, которая старалась в эту мину-

ту порадовать его самым лучшим, что она знала. Задыхаясь, она все же не переставала объяснять ему этот танец, который давал «хлеб» и, очевидно, составлял когда-то всю гордость и все горе ее несчастливой жизни...

Он встал и повернулся лицом к огню, а она, закончив танец, утомленная, упала перед ним на землю.

— Вот какой танец, сынок! — сказала она, тяжело дыша, и, приподнявшись, села, а он достал из-за пояса деньги и, сопровождая свой жест сочувственным взглядом, бросил их ей в подол. — Вот этот танец плясала я в песте и в разных городках, по гораздо дольше, чем сейчас, перед тобою, потому что была молода и пригожа. Чардаш называется он. А паны, которые проезжали через песту или мимо нашего табора, заходили к нам и любовались. Кроме меня, плясали и другие цыгане и цыганки. Потом посылал меня Раду еще в ближайший соседний городок просить милостыню и ворожить — и это было самое худшее. И один раз, и второй, и третий, сынок, аж до тех пор, пока не настал всему конец. Потом мы оттуда убрались. Давно все это было, сынок, давно, давно, и Мавра была тогда молода и красива...

Гриць снова набил трубку, а она, на удивление оживленная его присутствием, продолжала свой рассказ.

— И я, сынок, тоже имела бы такого сына, как ты, — уверял его ласковый, искренний взор ее прекрасных грустных глаз, — кабы не любовь за спиной мужа, а вслед за нею и грех; а грех всему виною, и потому-то, сынок, я теперь одна, одна на все село, на всю гору, на весь лес. Не дай, господи, никому такой доли, как моя. Никому до тебя нет дела — жив ты или помер. Живешь вместе с дикими зверьми в лесу, и все тут. Были у меня родители, — продолжала она, едва ли не машинально, по привычке, — и я потеряла их. Был у меня муж — отрекся, покинул; был ребенок, мальчонка, убили или украли — один господь знает. Одна я осталась. Одна, сыночек, — говорила она, и глаза наполнились слезами печали. — Одна, повторяю, на всю гору, одна на весь лес, разве что кой-когда... — и осеклась. Сильный раскат грома, вновь прокатившийся в этот миг по лесу, прервал ее рассказ, и она, словно предупрежденная им, не заговорила о Тетяне, о которой хотела было упомянуть, как о единственной своей радости в жизни, а вместо этого начала опять о прежнем, о самой себе. — Одна я, сыночек, одна, — продолжала она, — разве что раз в году господь пошлет какого-нибудь

ангела, как вот теперь тебя, царевич ты мой прекрасный! — И с этими словами она скрестила руки на груди и поклонилась ему низко, смиренно и словно всю свою пострадавшую душу вложила в этот поклон... Никогда, вероятно, не испытывала ее бедная душа, не знавшая доныне ничего, кроме унижения, горя и боли, такого блаженства, как в ту минуту, когда она видела в своей хате этого красивого чужого хлопца с чудными, голубыми, как небо, глазами. Однако где она уже однажды в жизни видела эти глаза? Эти глаза, и этот шаг, и это лицо? Где? О! о! о! Господи ты боже! — И в ее бедной душе происходит нечто удивительное. Она начинает плакать и не знает почему? Начинает смеяться и тоже не знает почему. Только чувствует, что причиной всего этого — *он*, что это он пробудил своим видом в ее душе воспоминания о молодости, обо всем, что прошло. И потому-то она и плачет и смеется. — Приходи, сынок, ко мне, — только и в состоянии облечь она в слова все те странные чувства, которые потрясли ее. — Приходи, царевич! — просит она от всего сердца и опять складывает руки крестом и кланяется ему покорно, низко, до земли. — Приходи к несчастной! Ты будешь ее ангелом небесным. Мне уже карта давно предсказала, что в мою хату придут двое мужчин. Один уже был раз зимой, а я со страху непустила его в хату. А другой — вот ты! Приходи, сынок! Не забывай несчастную. Мой сын был бы тоже таким, как ты. Был... тоже *белый*, — и замолкла.

А он глядел на нее, забыв все на свете, совсем чужими глазами, словно увидев что-то из иного мира, и не понимал, что с ним творится. Почему ему стало тепло от слов этой нищей цыганки, от ее голоса, так изменившего ее, как только она заговорила. От ее теплого взгляда, который являлся олицетворением печали, но вместе с тем таил в себе и что-то другое, ласковое...

И он долго бы еще сидел вот так и все глядел бы на нее, не знающую, что она согревает ему душу, долго бы еще прислушивался к ее словам, исполненным нежности и любви, если бы она сама не придала всему другой оборот и если бы на дворе не заржал его конь.

— Хочешь, сыночек ты мой прекрасный, голубчик мой голубоглазый, чтобы я тебе погадала, пока ты не ушел от меня? — спросила она молящим тоном и, не дожидаясь ответа, вытащила из сундучка старые, истрепанные карты, ставшие от употребления уже круглыми.

— Ладно! — отвечает он неохотно. — Гадай, но говори правду, все равно плохое или хорошее, а то мне еще никто никогда в жизни не гадал. А если угадаешь мою судьбу верно, позову тебя на свадьбу, как уже позвал одного такого, как ты, и получишь к тому же еще хороший бакшиш; ну, бросай карты... и угадай!

Мавра повиновалась.

Многим Мавра открывала то, что показывали карты, многим угадывала, предсказывала судьбу, но такой судьбы, запутанной и переплетенной с другими, как у этого хлопца, она давно уже не видывала.

Вот что говорят карты.

— Сыночек, — произносит Мавра почти набожно и серьезно глядит на него. — У тебя две душеньки. Одна белая, как пани, важная да гордая, которая не с каждым знается, а другая — ветреная, сынок, земли не держится, ничего не держится. Блуждает, колеблется. Что ты за человек, сынок? В кого пошел? Кто белый, отец или мать? — спрашивает она и при каждом вопросе все дольше задерживает на нем пристальный взор своих больших черных грустных глаз. — Кто ты, сыночек? Царевич? — И сама не замечает, как слезы застилают ей глаза. — Скажи, голубь! И мой сын был бы таким... — и почти протонала она, оборвав свою речь.

Гриць задрожал при этих словах, вспомнив, что он подкидыш, что ничего не знает о своих настоящих родителях, — и замкнулся в себе. «Пускай гадают дальше», — думал он, — может, он хоть из карт дознается, кто его родители, а то хозяева всегда только «проходимцем» обзывали, а больше он ничего не знает.

И не отвечал на ее вопросы.

— Басни! — только и сказал он сухо, махнув пренебрежительно рукой.

— И не отсюда ты родом, — продолжала старуха, — а издалека... издалека, сынок, где не ступала твоя нога. А это что? И два отца у тебя, и две матери, а меж тем близ тебя сиротство. Кто ты, сыночек? Кто тебя так раздвоил? — спрашивает она опять и впивается глазами в его красивое молодое лицо, в его голубые глаза, в черные красивые усы. — Кто ты?

Он молчит. Смолкла и она. Ей почему-то неудержимо хотелось заплакать, слезы застилали глаза...

И не видала она его нигде и не встречала, а меж тем будто знает его, будто чувствует в нем что-то свое, родное... О!

эти глаза... эти глаза, которые она уже где-то видела!

Где? Не помнит.

Но видела их, видела. Сейчас почувствовала всей своей истрадавшей душой, что *видела*. Даже заглядывала в них. *Чувствовала* их на себе. Когда-то. О! давно, давно, давно когда-то — *у него!* Да *у него!* — почти кричала ее душа, но Мавра промолчала.

Гриць, внешне спокойный, упорно таился перед ней, и она тоже молчала.

— *Не люби, сыночек, черных глаз*, — произносит она, наконец, сдвинутым голосом и предостерегающе поднимает палец, хмуря сурово брови. — Потому тут черные с синими не ложатся в пару, вещают печаль. Душу смущают. Люби такие, как у тебя, будет твоя доля ясная. Или погоди, — прибавила она вдруг и задумалась. — Что это за девушка, которая тебя любит? Рядом с ней печаль и дорога. Далекая широкая дорога. А у тебя свадьба на уме, и ты тоже будто в дорогу собираешься. В далекую широкую дорогу. *Не двоих ли ты любишь?* — вдруг холодно спросила она и посмотрела на него проницательным взглядом. — *Не люби двоих*, сынок, — опять предостерегает его она, — расколешь пополам свою долю. Она помолчала. — Да, берегись дивчат, и русских и темных... А твоей матушке, сынок, выпадает сиротство. Горькое, тяжкое сиротство, какого еще никто на свете не знал. Печаль тут все закрывает, хоть ты и стоишь рядом с ней. Да, печаль тут все закрывает. Счастье у тебя, но... — и не досказала. — Ну, хватит на первый раз. Ступай, — закончила она как-то грустно. Затем собрала карты и поднялась.

Гриць тоже поднялся и словно возвратился из какого-то другого мира. Потом вынул деньги и надменно бросил их к ногам старой женщины.

Она не глядит на деньги, а склоняется перед ним покорно, снова скрестив руки.

— Не хочу я твоих денег, сыночек, — говорит она, — а дай мне дозволение на другое. Дай дозволение, сын мой, бедной цыганке благословить тебя. Ты второй раз ко мне, верно, не придешь, а ты мне мил. Таким был бы и мой сын, будь он жив. *Белый* был. Я благословляю тебя, сыночек, голубчик, пусть счастье не покидает тебя никогда, как солнце землю. — И, сказав это и не дожидаясь его позволения, неожиданно встала на цыпочки, обхватила его голову, прижала к груди — и отпустила. — Иди, сынок, может не увидимся больше...

— Приходите ко мне на свадьбу, матушка! — ответил он, глубоко тронутый ее неожиданной добротой, и быстро вышел из хаты.

В Мавриной хате тихо.

Кто этот хлопец?

В своем селе, там вои в долине, она знала всех. Поэтому она знала, что он не из их села. Оставшись одна, она схватилась за голову. Боже, какой он красивый и какой... какой-то... Вот и денег сколько ей оставил! Видно, сын богача. И она не может совладать с чем-то, что не было ни радостью, ни печалью, но все же распирает ей грудь. Долго усидеть в хате она не смогла. Вышла.

На дворе дождь перестал, из котловин и ущелий между горами, а также из лесных чащ, клубясь, поднимались туманы. Поднявшись, тянулись синими тучами, громоздясь над лесами, между верхушек столетних пихт, и словно прощались с ними, догоняя друг дружку, тоскливо торопясь куда-то вдаль.

Мавре тоскливо.

Тоскливо и горько.

Пришел хлопец, будто ясный месяц вошел в ее хате, и накликал тяжелую грусть на ее душу. Почему ей тоскливо? Это ведь чужой хлопец, чье-то чужое детище, — уговаривает она себя. — А она бедная цыганка. И одна на всю гору, на весь лес одна, всегда одна. Ни с кем она не связана, никого у нее нет, никому она не нужна. Почему она так тоскует по нему? Увидит ли она его еще? Позвал ее на свадьбу. На ком же он женится? В каком селе он живет? О, она и не спросила! Так забыла обо всем, глядя на него, что и не спросила. Но она разузнает. Вдруг в голове у нее молнией сверкнула мысль. *Может, это Тетянин Гриць?*

Но нет, Гриць еще не засылал к Тетяне сватов. По крайней мере, Тетяна об этом не упоминала. Но с виду он такой, как рассказывала дивчина, и на вороном коне уехал, только едва ли это Гриць. Будь что будет, пусть это и не Гриць, а она пойдет к нему. Не за подаванием, а чтоб его еще раз повидать. Эти глаза... эти самые глаза, что даже в лес, в ее одиночество, притащились за нею откуда-то.

Вокруг тишина... тишина...

Лес стоит молча, но пихты все же о чем-то шепчутся. И все-таки идет... лесная молвь.

Быстро съезжает Гриць белой тропинкой с горы. Вот-вот уже покажется в просветах между деревьями долина. Уже мало ему осталось ехать белой тропинкой. Он все думает о встрече с одинокой ворожейкой-цыганкой. Все возвращается мыслями к ней. Тяжко ему почему-то без нее. Тяжко и грустно. Хотя она никогда в жизни его не видела, а сразу его душу точно теплым шелком обвила. И хоть он не поверил бы никакой другой гадалке — все они паводят туман, — ей одной он верит. Больше всего его поразило ее смирение перед ним. Почему она была такой смиренной? Ничем она не была ему обязана, ничем не провинилась перед ним. Увидела в первый раз и сразу же всю теплоту своей души как бы под ноги ему постелила... Как тот дед Андронати, который всегда, с самых давних пор, был так добр к нему и только просил не забывать его. Он расскажет когда-нибудь старику про ворожейку Мавру, и пусть он к ней пойдет. Может, им хорошо будет, когда они встретятся.

«Царевич ты мой прекрасный! — звенит все время в его памяти ее ласковый покорный голос. — Голубчик мой голубоглазый...»

Так с ним ни разу в жизни не говорила его мать — вот там, на горе, хоть и называлась матерью.

Его мать! Где уж там! — вспомнил он и горько усмехнулся. Кто знает, где и кто его мать. Подбросили его, словно какого-нибудь щенка, чтоб избавиться, под чужую стреху, на милость чужих людей, и не воротились больше. Разве он не такой же одинокий на свете, как и та бедняга, которая говорила о себе: одна на весь лес, на всю гору? Разве его доля не схожа с ее долей? «Мавра!» — вдруг стоном отозвалось, тоскливо заныло молодое сердце и остро ощутило потребность любви. Той чистой материнской любви, которой он никогда по-настоящему не знал, как бы ни любили его названные родители или девушки, как бы ни уважали его товарищи и прочие знакомые ему люди. Нет, материнской любви, сердечной, теплой, он никогда не знал. Она единственная, первая, отнеслась к нему сердечно, благословила его от души. От любящей

материнской души. И он ощущал всем своим существом силу правды ее слов и силу ее чувства и знал, что он ее не забудет...

Раздумывая о старой бедной цыганке, припомнил он вдруг и ее вещие слова о его судьбе: «Не люби, сыночек, черных глаз... — предостерегала она, подняв при этом палец, — потому как черные с синими тут в пару не ложатся. Люби такие, как твои, будет твоя доля ясная», — громко прозвучало в его душе. «У Туркини черные глаза!» — заговорил он вслух. Но в ту же минуту почувствовал так ясно, как, может быть, еще никогда в жизни, как дороги были для него эти самые черные глаза, как дорога была та, с черными глазами. «Туркиня! — страстно звало его исполненное тоски сердце, которое обо всем забывало, но ее помнило. — Туркиня, выйди!»

Он сам не заметил, как слезы навернулись на глаза, как уныние охватило его. Он еще едет белой тропинкой по лесу, но догадывается, что уже недолго осталось ехать. Скоро он спустится в село. Там, в долине, слышит он, громко шумит река. Вобрала в себя дождевую воду с гор, безумствует и знать никого не хочет. Но ему некогда. Задержался у старой цыганки, и теперь нужно спешить... Его конь резко бежит по белой, будто выстиранной, тропинке, которая протянулась теперь, в этом месте, прямо.

Он то и дело задевает шляпой ветви раскидистых пихт, и на него с зеленых игол сыплется свежий дождь.

Еще немного, и начнет смеркаться. Там, где лес погуще, уже будто легли сумерки и только кое-где поблескивает заходящее солнце, вновь показавшееся после дождя. Да.

Однако — кто это идет ему навстречу? Не Туркиня ли? Она — Туркиня!

И он восклицает радостно:

— Тетяня, это ты? — Но тут же смолкает.

Это в самом деле она. Она его узнает, но делает знак рукой, чтоб он молчал. Недалеко мельница. Он сдерживает коня, сворачивает в сторону, и она бежит к нему. Вот она уже рядом, босоногая, с подоткнутой юбкой, простоволосая — будто тайком выскочила из хаты, с каким-то узелком в руках, — улыбающаяся, счастливая.

Кто бы мог подумать! Они даже вскрикнули от счастья, встретясь так неожиданно, и оба улыбнулись.

— Не говори громко! — предостерегает она, задыхаясь от радости. — Не говори громко, позади идет мать!

— Любишь? — торопливо спрашивает он вместо ответа и наклоняется к ней с коня, а она, стройная, как молоденькая пихта, приподнявшись на цыпочках, тянется к нему.

— Люблю, — отвечает она, и глаза ее светятся счастьем. — Разве я не любила?

Он привлекает ее к себе, так горячо, жадно, как никогда, целует.

— Здесь никто не видит, — шепчет он страстно. — Еще раз.

— Раз, — повторяет она послушно и целует его.

— Нет. Еще раз, — отвечает он и целует ее опять. — Я тороплюсь, ласточка, все время в работе. — После чего прибавляет украдкой, точно вор, торопливо: — Когда-нибудь в лесу опять, как нынче.

Она улыбается счастливая.

— Как нынче, — повторяет она с той же улыбкой счастья, не задумываясь, и будто ждет чего-то.

— Встретимся, — сказал он и тронул торопливо коня.

— Встретимся, — ответила она, заглядевшись на него, вложив всю душу в свой взгляд; и, не спуская больше с него глаз, пошла с выгона, с обращенным все время в его сторону лицом, вверх по белой тропинке, по которой он только что съехал...

Хлестнув коня и тоже оглянувшись, он помчался, как ветер, и скрылся из виду.

Тревожно закачались раздвинутые стремительным движением коня пихтовые ветви. Закачались, и с них посыпались крупные капли дождя. Слышно, как густо падали они на землю, а затем стекали лишь одна за другой, редко, еще реже, пока вовсе не перестали...

Постепенно в лесу стало тихо...

«Гей, на Ивана, гей на Купала, гей, гей, гей!» — внезапно раздается уже где-то высоко, в лесу, счастливый голос Тетяны и затихает.

«Красна дивчина счастья искала, гей, гей, гей», — мысленно продолжает, с сомкнутыми устами, Иваниха Дубиха, медленным, степенным шагом подымаясь за нею к Мавре на гору.

Как-то спустя недели три после встречи Тетины с Грицем, Иваниха Дубиха опять посылает Тетяну проводить Мавру, узнать, что с ней, так как она давно уже не была на мельнице, и передает для бедняги узелок с едой.

Тетяна охотно соглашается, нарядно одевается, украшает себя цветами. Может, как раз сегодня встретится с милым, они давно уже не виделись. Он занят. Уже случалось порой, что они неожиданно для себя на белой тропинке встречались... Вот так и в последний раз.

И пошла.

Идет, задумчивая.

И мысли все вокруг Гриця вертятся. Как он к ним придет, как затем придет сватов, как мать справит свадьбу, как они заживут, какое их ожидает счастье и благополучие... Как Гриць переберется к ним на мельницу, начнет хозяйствовать, как все его полюбят, уважать станут, а мать при них отдохнет. Она такая добрая, всегда за ее счастье молилась, пока красивого Гриця себе в зятья не вымолила. А если не захочет, то уйдет в монастырь, куда ее все время после смерти отца тянет. Или же при них будет жить в миру, отдыхать. Как сама захочет. Как пожелает — так и будет.

Продолжая путь, полная счастливых раздумий, Тетяна время от времени приостанавливается, словно отдыхая, замирает на месте и прислушивается.

Ей чудится, что еще снизу, с самого начала белой тропинки, ее преследуют какие-то шаги, тяжелые, неуверенные.

Стоит, прислушивается, оглядывается. И, оглядываясь, дожидается.

Может, это Гриць?

Но нет. Он всегда ездит верхом. Он будто сросся со своим конем, никогда без него к ней не является. Один только конь делит с ними тайну, да еще лес. Это не Гриць.

Стоит, дожидается еще с минуту и все-таки, словно обращаясь к нему кричит, как обычно: «Я здесь!» И эхо, раскатываясь по лесу, отвечает ее голосом и замирает: «Здесь!» — и больше ничего.

Она идет дальше.

Но через некоторое время вновь на минуту останавливается. А вместе с нею — и все пихты, и слева и справа. Одни над пропастью, другие на горе — тоже как бы оста-

навливаются. Лишь слегка покачиваются, осторожно шеледят. Вместе с нею прислушиваются и, прислушиваясь, словно что-то шепчут.

«Гриць?»

«Ты, Гриць?» — спрашивает ее чуткая душа и сама отвечает на свой вопрос: «Я здесь!»

Она машинально хватается рукой за красные маки, которыми украшает себя, потому что он такой ее любит, и убеждается, что цветы на месте, держатся крепко.

Нет. Не Гриць.

Из глубины леса, сзади, выползает стариковская фигура какого-то белоглазого страшного цыгана-нищего и тенью движется за ней, явно за ней.

Тетяна ужаснулась. Никогда ей не встречался в селе этот нищий, хотя она хорошо знала всех бедняков и очень часто видела их у своей милосердной матери. Но вот он кланяется, сложив молитвенно руки на груди, — точнехонько, как Мавра, когда кто-нибудь делал ей подарок и она подобострастно благодарила, — и вдруг останавливается. Тетяна испугалась, страх ее перед стариком усиливается. Но старик замечает это и смиренно кланяется еще раз.

— Не бойся, доченька, старого деда, — говорит он. — Я заблудился здесь в лесу, а идти далеко, и зла никому не делаю. Да хорошо, что вот тебя тут повстречал, — продолжает он, и его черные глаза под седыми бровями сверкают каким-то особенным злорадством.

— Чего мне бояться? — спрашивает Тетяна, а сама уступает старику дорогу, чтобы он свободно прошел по тропинке и поскорее бы отправлялся дальше. Потом она торопливо вынимает что-то из узелка, предназначенного для Мавры, и подает деду. — Примите, добрый старичок, за упокой душ, — просит она смиренно, — и скажите, пожалуйста, откуда идете? Издалека ли? Далеко ли?

— Нет, милая доченька. Я только сегодня из долины, из вашего села, — отвечает старый цыган, а сам почему-то пристально глядит на молодую девушку с большими красными цветами в волосах, возникшую перед ним, точно русалка.

— А много собрали милостыни в нашем селе? — спрашивает Тетяна и через силу улыбается, а сама рада бы убежать от нищего как можно скорей и как можно дальше.

— Мне хватит. Спасибо всем добрым людям, что бедным помогают. Щедро подавали. Не зря к ним обращался; да и то, о чем хотел разузнать, — разузнал. Сегодня был я в

этом селе третий раз. Чаще всего я бываю в селе Третьивки. Первый раз я тут был больше двадцати лет назад, — лучше не вспоминать, другой раз проходил через него как-то зимой и вот сейчас третий, видать, последний раз, не знаю, что дальше судьбе вздумается. Должен был идти. Взялся кой-что сделать, других выручить, вот и пришел. А еще раз, кто знает, приду ли?

— Почему? — спрашивает доверчиво девушка.

— Старость не пускает. Да и кто захочет старого цыгана у себя держать? — отвечает старик и потом, опершись на нищенский посох, погружается в раздумье.

И, обдумывая что-то, искоса все поглядывает на девушку. Она это замечает, и ее снова охватывает страх. Наконец, старик заговорил:

— Не скажешь ли ты мне, доченька, чья ты? Такая красивая, нарядная, привлекательная?

— Я дочь вдовы, — скромно и степенно отвечает Тетяна.

— Вдо-вы? — будто бы удивляется нищий.

— Вдовы.

— А-га! — тянет старик и снова мерит ее взглядом. Ее, и ее красные цветы, и золотые полумесяцы, которые чуть покачиваются при каждом движении головы.

— А коли уж вдовы, — продолжает он тянуть, — так, может, ты бы за меня сделала одно небольшое дельце, чтобы мне можно было назад в село воротиться. Меня там ждут. Мне некогда.

— Отчего же? — отзывается Тетяна с достоинством, радуясь в душе, что скоро избавится от старого цыгана, и поднимает брови, как всегда, когда удивлена. Но почему-то ее снова охватывает страх перед стариком.

— Так вот скажи прежде всего, — начинает дед, — знаешь ли ты мельничиху Иваниху Дубиху? Богомольную пани, к бедным милосердную?

— Знаю, дедушка, знаю, — отвечает весело и доверчиво Тетяна, с полной искренностью.

— У которой только одна-единственная дочка. Гордая да балованная, самая красивая во всем селе.

Тетяна вспыхнула.

— Знаю, дедушка, знаю, — говорит она, избегая его пронизательного взгляда, и усмехается. — Знаю их обеих. Да что ж тебе до них? До Иванихи Дубихи?

— До старухи, доченька, ничего. У меня до молодой есть дело, — отвечает старик, — до прекрасной чаровни-

цы, что хлопцев с ума сводит и, говорят, черными бровями колдует, красными цветами приманивает, а глазами в полон берет.

Тетяна рассмеялась.

— Туркиней ее зовут.

— Туркиней, дедушка, — повторяет девушка, а сама с каждой минутой все мрачнее и сбежать бы рада. — Какое у вас, дедушка, дело к Туркине? Говорите скорее, — вдруг заявляет она напрямик, — потому мне уже некогда. Я тороплюсь к одной бедной женщине, несу ей поесть, и она ждет меня.

— К бедной? — спрашивает дед и приглядывается недоверчивым взглядом к молодой девушке, а еще больше — к ее красным цветам.

— К бедной.

— Да благословит же тебя пречистая за твое доброе сердце. Одного уж оделила и еще другой несет. Вот какая добрая ты да сердечная. А чья ты, доченька, как тебя помянуть? — снова спрашивает он, не спуская с нее глаз.

— Это пустое, — отвечает Тетяна нетерпеливо. — Лучше вы скажите, что вам нужно от Туркини, которая, как уж толкуют, отнимает разум.

Старик вздыхает, выпрямляется и, словно увидав нечто необыкновенное над головой молодой девушки, начинает:

— Тяжко, доченька, сердце другому ранить, да коли уж просили, коли уж так нужно, коли так захотели, то я передам.

— Кто просил? — спрашивает Тетяна, а сама вся так и дрожит в предчувствии недоброго.

— Синеглазая Настка.

— Не знаю ее, — говорит Тетяна и поднимает брови.

— Настка из Третьивки, которая собирается выйти замуж, — отвечает старик.

— За кого? — спрашивает Тетяна, и ее глаза становятся будто еще шире в ожидании ответа.

— Сейчас, доченька, не перебивай.

— И что же синеглазой Настке от Туркини нужно?

— Она, — начинает снова дед, — так просила. Стань, говорит, перед Туркиней и так скажи:

«Я прослышал, Туркиня, что ты любишь Гриця, самого красивого хлопца с венгерской границы. Что ты привораживаешь зельем, наговором, что ты творишь лихо, отбираешь счастье».

И слышал я, Туркия, что Гриць тебя не любит, он уже давно другую голубит. *Синеюкую Настку* он назвал своею и уж скоро с ней повенчается.

Чего ты от него хочешь, прекрасная Дубивна? Чтобы невесту бросил, на тебе женился? Да ведь тебя проклянут, не только невеста, но и все люди, кто про тебя прослышит. И пойдут по всему селу смех да издевки, и останешься ты со своим горем одна, точно страшное видение.

И слышал я, Туркия, что у тебя есть богатство. Значит, ты хлопцев себе найдешь и кроме Гриця. Невеста Гриця — знай — из-за тебя плачет, от горькой обиды она страдает, тяжко проклинает. Гриць тебя еще не видел, а ее уже любил; тебя миловал, а ее уже сватал. Потому ее и возьмет, прежде чем доведется ему сватов заслать, тебя посватать.

И слышал я, Туркия, все то, что говорю теперь, от той русой Настки, которую Гриць берет. Он сам ей жаловался, что ты всему горю виною, что его манила, голову кружила.

Подняв черные брови, словно бы удивлялась, а в это же время душу в нем раздвигала. По лесам бродила, эхом все играла, а в это же время ты с пути сбивала.

Теперь он опомнился, тебя он чурается, черных бровей боится, с русыми ласкается. К тебе уже не придет, и не жди нигде, разве что когда увидишь его на вороном коне. Тогда отвернись, чтобы люди не узнали, что Гриця любила, у другой отбивала.

А коль привораживать не оставишь, то знай, что и людей молчать не заставишь. Разойдется о чернобровой дурная слава, что Гриця с Настуней разлучила навек. Сердце отобрала, душу раздвоила — печистою силой в горе утопила...»

Так Я, дед, всему свидетель. Перескажи, дочка, это Туркине, коли ты ее хорошо знаешь, что у Гриця другая есть. На свадьбу просит, я там буду.

Этими словами дед закончил свою речь. Ждал. Тетяна медленно опустилась к его ногам.

— Я, дед... Туркия, — простионала она и, обняв его колени, смолкла, точно лишилась сознания.

Дед вздрогнул.

— Вправду это ты? Почему ж ты сразу не призналась, что ты и есть Дубивна, тогда я, может, не все бы тебе передал. И думал, что ты Дубивна, и не верилось. Однако верно рассказали про тебя те, что тебя знают. Отыскал тебя даже здесь, куда они меня послали. Красива ты,

Туркия, — никто не соврал. А за твою милостыню, что подала ты мне перед этим, дед тебе злом отплатил. Но я не виноват. Я ничего не знал. *Настка* мне рассказала, а ей он сказал. Обоих он вас любит, а на одной женится. Чем я тут могу помочь? Ты сама в этом виновата. Было бы тебе не привораживать Гриця. Ни черными бровями, ни красными цветами, ни сладким словом... ни... сам не знаю чем. В чем я тут перед вами виноват? Ты сама все знаешь. Беды натворила. Потому-то и просили передать тебе это. Пусть, наконец, Гриць успокоится!

— Нет, дедушка, — отозвалась, наконец, Тетяна, поднимая к старику свое побелевшее, как у мертвой, лицо, обнимая с невыразимой тоской его колени. — Нет, батюшка, я не привораживала, зла не делала. Я Гриця только любила... О, о, о! Нет, — чуть ли не со стоном молит она, — этого не может быть, чтоб он на другой женился, не может быть! — почти кричит она и снова склоняет голову к его ногам и в отчаянии еще крепче их сжимает.

Старик пожал плечами.

— Не знаю, доченька, — ответил он сухо. — Так мне говорили. Не здешний я. Что знал, то и сказал. Обязан был.

— О, о, о! — простионала, точно подстреленная, Тетяна, все еще продолжая стоять на коленях, прижавшись лицом к коленям деда. — О, о, о!

— Да, доченька, — подтвердил дед. — Это все правда, что передает тебе *синеглазая Настка*. А меня самого Гриць на свадьбу звал, и я к ним иду.

— Нет, дедушка! — восклицает, как раньше, Тетяна отчаянно-убеждающим голосом и опять обнимает с невыразимой тоской и смирением колени старика, словно она забыла все другие жесты, словно перед ней стоял святой, которому она молилась. — Нет, дедушка, не говорите этого. *Этого не может быть...* Мы еще вот... недавно здесь в лесу, — всхлинула она, — встречались, — и, произнеся это, она точно совсем умирает, угасает, — и он... еще меня целовал. *Этого не может быть.* Это неправда; он другую не возьмет... он меня любит. Я не приворожила! — крикнула она в отчаянии. — Я только любила, любила, дедушка! Мы тайно обручились, и, прежде чем выпадет снег, я буду в его хате. Дедушка! Он меня любит. О... здесь... в лесу... столько раз, — всхлипывала она, — в лесу... — И опять как бы теряет сознание.

Старик захохотал.

— Говоришь — любит тебя? — спросил он.

Тетяна с мольбой во взоре подняла к нему голову, по-
никшую от отчаяния.

— О, любит, дедушка милый, любит! — уверяла она
и, как прежде, прижалась искаженным от горя лицом к ко-
леням деда. — Меня одну любит, *меня единственную на
свете*. Сам мне говорил, и я ему верю. А прежде чем вы-
падет снег, говорил, будешь в моей хате. Я *его* Туркinya! —
крикнула она и, раскинув руки, упала ничком на землю.

Старик поднял ее.

— Не будешь, Туркinya! — сказал он твердо. — В его ха-
те будет синеглазая Настка, а Гриць, я тебе говорю, зо-
вет на свадьбу. Меня уже звал. Я к ним иду. Встань, опом-
нись, про Гриця не думай, не мешай счастью, берегись
греха, а иначе — гляди!.. — И, словно повинувшись какому-
то тайному велению, погрозил ей кулаком. Тетяна дико
установилась на него округлившимися глазами, но, поняв,
наконец, значение его слов и угрожающего жеста, вдруг
взвилась с земли, точно змея, и вскочила на ноги.

— Уйди ты! — крикнула она иступленным голосом,
в котором закипела вдруг такая ненависть, точно с по-
следним словом старика встала перед ней вся нечисть на
свете. — Ты! — и оттолкнула нищего с такой силой, что он
упал. — Уйди ты! Ты сам нечистый, повстречавшийся мне.
Гриць! — крикнула она во весь голос, словно не помня се-
бя от отчаяния, и залилась хохотом. — Гриць, я здесь!

Цыганские глаза старика страшно сверкнули, и, под-
нявшись, он погрозил ей еще раз кулаком и посохом.

— Гай, гай! — крикнул он, задохнувшись, и проклял ее
страшным проклятием. — Вот оно что, — добавил он, — ты
настоящая чаровница — ведьма. Теперь я это сам вижу.
Настка правду сказала! Знай же ты, первый раз от нее,
а второй раз от меня: Гриць ее посватал, а *тебя бросает!*

— Неправда, он меня любит! — накинулась на него Те-
тяна, ее голос срывался от волнения, глаза дико выкати-
лись, она всеми силами защищалась от страшных, разя-
щих ее насмерть слов старика.

— Только и твоего! — крикнул в ответ старик и залил-
ся едким злобным смехом! — Только и твоего. Так, как
его отец любил когда-то его мать, — добавил он с безум-
ной ненавистью. — *Только и твоего!*

Тетяна, уразумев из его речи только последние слова,
снова кинулась на него.

— Уйди ты! — крикнула она и, подняв высоко свои чер-
ные брови, протянула руку и указала на зияющую рядом

пропасть. — Уйди! — повторила она. — Бросайся *туда* —
и больше не возвращайся!

Старик вытаращил на нее испуганные глаза и, нагнув-
шись за палкой, которую выронил, хотел ее ударить.

Но ее уже не было — исчезла. Лишь с той стороны,
куда она метнулась, услышал он громкие, полные отчая-
ния слова: «Гриць!.. я *здесь!*» А спустя минуту — горь-
кий, продолжительный смех...

Задыхаясь, без кровинки в лице, с блуждающими гла-
зами и перекошенным ртом, врывается Тетяна к матери
и бросается ей на грудь.

— Мама! — кричит она угасшим чужим голосом. —
Мама, Гриць меня бросил, изменил. Меня он любил,
а с другой венчается. Мама! — кричит она, не давая ма-
тери опомниться и не сознавая, что говорит, трясет ее изо
всех сил. — Мама! он *двоих сразу* любил; слушайте, *мама!*

Сидевшая на скамье Иваниха Дубиха, увидев вдруг
перед собой ополоумевшую дочь, только к стене привали-
лась.

— Что за Гриць? — глухо спросила она.

— Тот, мама, что раз зимой верхом на коне здесь был.
Красивый такой! В лесу мы всегда виделись, там мы лю-
бились. Лес один *все* знал. Гриць, мама! — и захохотала.

Старуха тяжело поднялась.

— Да? — спросила она и добавила. — Это он тебе со-
ветовал цвет напоротника искать? — И, произнеся это,
усмехнулась, словно последний раз в жизни.

— Мама! — раздался на весь дом крик страшного от-
чаяния. — Мама!

— Ты *одна* у меня была, — ответила мать. — *Одна* на
целом свете...

— Мама!

Дубиха больше не отвечала...

Тетяна упала перед ней на колени... каялась...

Часом позже Тетяна снова в лесу.

Мяется неистово, летит, как стрела, к старой Мавре.
«Мавра! — диким стоном хлопочет в ее груди голос
и ищет себе выхода. — Мавра!» — и вот Тетяна уже на
горе.

Вид девушки напугал старую цыганку, и она кинулась
ее обнимать.

— Доченька, — говорит, — доченька, что у вас случилось?

— Мавра! — смогла лишь произнести Татьяна и замерла на ее груди.

Глаза старухи зловеще блеснули.

— Он? — только спросила она, и губы ее страдальчески скривились.

— Берет другую. Изменил мне! — простонала Татьяна и опять замолчала.

— Видишь? А ты думала, доченька, — отозвалась Мавра, — что он будет тебя всегда любить?

— О Мавра, — зарыдала Татьяна. — Любил, ласкал, целовал, обещал, Мавра, еще недавно, еще недавно, здесь вот, в лесу, а теперь...

Мавра вдруг рассмеялась, точно над малым ребенком.

— Да-а? — процедила она злобно. — Ласкал, целовал?

— Ласкал, целовал... еще последний раз, наклоняясь с коня, после грозы... о... так искренно...

— После грозы! — удивляется старуха. — Это был он? — И вдруг с глубокой жалостью качает головой и, будто вспомнив что-то, шепчет: — Боже, боже! — а потом, опомнившись, отвечает твердо, с ненавистью: — Эх, знала бы ты, доченька, что кто больше ласкает, тот скорей изменяет. Когда он целует тебя, его сердце уж с тобой прощается. Кто только так не делал?

— О, о, о! Мавра! — простонала Татьяна и потом, закинув в отчаянии руки за голову, вскрикнула: — Я с ума сойду!

— Нет, доченька, не сойдешь, — успокаивала ее Мавра, — и я не сошла. Глянь, — продолжала она спокойно, — как от меня не только он, а все отреклось, бросили в лесу, как собаку какую, ребенка забрали. Не сойдешь. Я и посегодня живу, не лишившись ума, одна на целом свете, на всю гору, на весь лес, а все из-за этих ласк. И я не спатила. Гай, гай! — завела она по привычке, покачивая головой. — Не сойдешь.

— А я сойду с ума, Мавра, — твердила глухим голосом Татьяна. — Я сойду с ума, я не в силах перенести. Что делать, Мавра?

Мавра пожимает беспомощно плечами, но, подумав немного, говорит:

— Я пойду к нему и сама у него спрошу. Разузнаю, правда ли это, кто это тебе сказал! Откуда ты все это знаешь?

— Какой-то старый цыган, которого я по дороге к тебе встретила в лесу, все сказал. Он не лгал, — и рассказала Мавре о своей встрече со стариком Андронати.

— А он откуда узнал? — спросила, чрезвычайно заинтересовавшись, Мавра.

— Невеста Гricia сама мне через него передала.

Старая цыганка выругалась, но тут же, успокоившись, добавила:

— Молчи, доченька, молчи; я туда пойду, обо всем разузнаю, сообщу тебе правду. Молчи, не мучайся. Но знай, коли это правда, им добра не будет. Ни ему, ни ей. Я тебе как мать, а где мать проклянет, там не будет счастья.

Татьяна молчала, застыв на месте.

— Я попытаюсь к тебе его приворожить, — произнесла после некоторого раздумья Мавра, успокаивая девушку.

От этих слов старухи Татьяна дернулась, будто змеей ужаленная, и в порыве оскорбленной гордости и презрения с такой силой оттолкнула от себя Мавру, как недавно Андронати, что та упала на лавку.

— Не смей! — воскликнула она, выпрямившись во весь свой стройный девичий рост, и высоко подняла брови. — Я не обманула, — произнесла она угасшим голосом, — двоих не любила. Не смей! Я его верно любила, — продолжала она побледневшими губами, — его одного; он мне изменил, так зачем его возвращать? Ты не посмеешь!

— Вот и получай за свою верность, — раздраженным тоном защищалась обиженная Мавра.

— И получаю, — ответила твердо Татьяна, с трудом переводя дух от волнения, и на миг умолкла.

— Он женится и будет первым хозяином на все село, а ты?

Татьяна промолчала, но с каждой минутой бледнела все больше.

— Он женится, будет первым хозяином на все село, а ты? — повторила Мавра все еще раздраженным тоном.

Татьяна посмотрела на Мавру. Боже, какие у нее были глаза! Какой это был взгляд... просил, молил, потом она ответила:

— Буду Татьяной — кем же еще мне быть? — и замолчала, точно окаменев.

Мавра не поняла ее.

— А что ему сделаешь?

— А ты что сделала, Мавра? — прошипела Тетяна, поднимая высоко свои черные брови.

Мавра помолчала, потом, выругавшись, сказала:

— Я покорилась судьбе, поддалась ей и вот доживаю свой век. Что было делать?

Тетяна взглянула на нее безумными глазами.

— Ты, Мавра, — сказала она твердо, — ты покорилась. Могла вынести.

— А ты, доченька, что сделаешь? Он тебя уж не возьмет.

— Он меня не возьмет. *Никогда* не возьмет, — отозвалась девушка, однако уже каким-то чужим голосом.

— Пропало твоё счастье... пропала твоя доля, — начала снова жалобно Мавра и закачала головой по привычке.

— Это мы еще увидим! — ответила на это вдруг девушка и, взглянув на Мавру странно загоревшимся взглядом, быстро вышла из хаты...

Подумав с минуту, Мавра выбежала за ней.

— Приходи через два дня опять, — крикнула она. — Я пойду завтра разужнаю и расскажу тебе всю правду. Приходи, говорю, опять...

Тетяна оглянулась, но не ответила. Она быстрыми, неровными шагами спускалась по белой тропинке и вскоре исчезла с глаз старухи...

* * *

Вернувшись к себе, Мавра ударила кулаком по голове. «Это он, тот самый Гриць, царевич мой — это он! Он, который постоянно, по словам Тетяны, на вороном коне ездил, и ко мне он тоже на нем приезжал. Он из Третявки, что там, за Чабаницей. Ой, господи, — убивалась она. — Где была моя голова, когда он был у меня? Я ему ворожила и не догадалась, что это он? Тетянин! Где была моя голова! Точно голубки, ворковали они в лесу, может, и неподалеку от меня, а я не уберегла.

— Тетяна, сердце мое! — громко простонала она. — Тетяна моя, сердце мое, что теперь с тобой будет? Ты, я вижу, не Мавра, ты, я вижу, не перенесешь этого. Тебя уже сейчас горе оглушало; господи, смилуйся над ней! Чего ты сизмальства не имела? — продолжала она. — Все, что ни пожелаешь, было у тебя. Всегда было так, как ты

хотела, а теперь... — от отчаяния и от жалости к девушке Мавра хваталась за голову, но тут же приходила в себя. Нет, она пойдет к нему. Завтра. Скоро рассветет, и пока солнце взойдет, она будет у него. Теперь она знает все. Упадет ему в ноги и от всей души попросит: «Сыночек, царевич мой прекрасный, буду умолять тебя. Не губи Тетяну. Я ее вынянчила. Я ее выпестовала — не по душе тебе? Не по душе рост, не по душе брови, не по душе сердце? Сыночек мой, не губи!»

Может, послушает.

* * *

Пробродила Тетяна два дня и две ночи, почти не ложилась. Не ела и не пила, все чего-то ждала, ходила точно во сне, ничего не видела и не слышала, — и все по лесу, по белой тропе. То там останавливалась, где он ее обнимал, то там оглядывалась все вокруг, где он ее ожидал, то вон там по-прежнему кричала: «Я — здесь!» и все это без отдыха, все — точно в горячке, пока не выбилась из сил, пока не произошла в ней тяжелая перемена.

Старая мать не удерживает ее, знает: больной душе нужен теперь покой. Пусть сначала сама со своим горем справится. А потом — все в руках господя.

В лесу хорошо.

В лесу, как в церкви. Там и покой и господь; и выросла она там и свою боль там оставит. Мать лишь сторожит ее, как тень за нею тащится, чтобы дочь какой беды не причинила. Сторожит ее и молится: «Господи, исцели, господи, укрепи, да снидет на нее мир». А сама уж — словно ее подменили. За короткое время побелела, как снег. Пригнулась к земле, смерти хочет.

На третий день, после того как Тетяна вернулась из лесу, она сказала матери:

— Я иду к Мавре. Мне нужна Мавра. Я приду. Я приду опять.

Мать прижала ее молча к себе и видит — у девушки голова горит, широко открытые глаза глядят куда-то вдаль, а сама она вся дрожит...

— Иди с богом, доченька, к Мавре, с богом и возвращайся, — благословила ее бедная мать, а самой тяжело было выпускать Тетяну из своих объятий. Но девушка точно только и ждала последнего слова матери, — она рванулась из ее рук и бросилась, как безумная, в лес...

— Господи, исцели, господи, помоги — от смерти охраняй... — снова прошептали материнские уста, и она вернулась в дом.

Тетяна стоит уже у Мавры на пороге.

— Правда, Мавра? — были ее первые слова, произнесенные чужим голосом, в котором словно оборвались все донные звучавшие в нем струны.

— Правда, доченька, правда, — отвечает Мавра, пораженная в глубине души страшной перемене, происшедшей с девушкой. — Сама я с ним говорила. Это тот самый, что был у меня однажды. Так вот, как уж сказала тебе, сама с ним говорила. — И, произнеся это, не спускает Мавра с девушки глаз. — Смеялся он, доченька, над тем, что я из-за тебя на него накинулась. «Хлопцу двоих любить можно», — говорит. И он Дубивну любит. Кто бы ее не полюбил? За ее черные брови и за верное сердце. Никого в жизни он так сильно не любил, как ее, Туркиню. Но так уж получилось, что она вторая в очереди — должна уступить. И хоть он двоих любит, но с двумя венчаться не может. Хоть бы и хотел — так поп не обвенчает. Чего Тетяна хочет от него? Чем он тут может помочь? Бросить Настку? Настка не отступит. Страшно Настку бросать. Тетяне будет легче. Она богачка, ее другой посватает, и все будет хорошо. О ней он не беспокоится. Ему хуже. У него все время чернобровая перед глазами, хотя через неделю свадьба. Так он будет страдать до той поры, пока ее не забудет. Сами дивчата беды натворили, его полюбили, а теперь он виноват. Хватит с него, что Настка сердится, а тут еще и она начинает. Чем он горю пособит? Кабы знал чем, — пособил бы, да не знает он. Пусть она, Мавра, передаст Туркине, что через неделю у него с Насткою свадьба, но он ее любит... Ой, — застонала в конце рассказа Мавра и чуть не заплакала. — Мне жалко твоего Гриця, доченька. Жалко отчего-то и горько. Мне жалко тебя, потому как ты моя, но и его жалко, потому как и он чем-то мой. Господи боже, почему все так сложилось? И такой он пригожий, и такая ты хорошая, а сложилось так фальшиво. Точно так, как когда-то и у меня. Господи, прости, я хоть согрешила, мужу изменила, но ты... — и замолчала.

Тетяна не отвечала.

Она все еще стояла на пороге, не двигаясь с места,

бледная как смерть, тяжело дыша, и ее глаза что-то упорно искали на столе. А когда Мавра, жалея ее, произнесла: «Пропало, доченька, твое счастье, пропала твоя доля!» — она, не ответив ни словом, выпорхнула из хаты, как перед тем от матери, и побежала.

Бежит она белой тропинкой, потрясенная горем, шатается, хочет перебороть обиду в сердце — и чувствует, что не в состоянии. Поддается ей, она ее душит. Тетяна чувствует только, что что-то должно случиться. С ней самой или с ним — не знает. Что-то могучее, огромное, чего еще не было, но что должно произойти для того, чтоб уничтожить зло, погубившее ее счастье. То зло, которое так велико, так страшно. Господи! — неистовствует что-то в ее уже совершенно больном мозге. Почему оно здесь? Почему оно так велико? И снова всплывает, все превосмогает ее первая мысль о том, что должно случиться что-то такое, что уничтожило бы зло, погубившее ее счастье. Она его уничтожит. Она ясно чувствует, что убьет его. Что это в ее силах. Но как? Но что?.. Она не знает ничего... Вдруг в ее голове начинает опять все путаться. «Кто виноват? — спрашивает она себя. — Гриць? Нет, Гриць не виноват. Он ее любит, вот и Мавре сказал, что любит. Настка виновата? Нет. И Настка не виновата. И у Настки счастья нет. Ее Гриць не так любит. — Внезапно Тетяна останавливается. — А может, и любит? О, любит, любит! — кричит что-то кровавым криком в ее душе, превосмогает, заглушает все. — Любит! Иначе бы не женился. Любит!» — И она заливается страшным, безумным смехом...

Потом к ней снова возвращается, снова выплывает прежняя мысль. «Гриць виноват? Нет, Гриць не виноват. Ей сердце подсказывает, что Гриць не виноват. *Здесь что-то другое.* Здесь виновато то зло, что в нем скрывается и его останавливает. *Зло!!!* Оно виновато, его надо убить. Она его убьет. Она... — Вдруг застыла как вкопанная, закинула руки за голову и смотрит блуждающим взглядом на лес, на верхушки деревьев... — Кто ей скажет, как ей к этому злу добраться? — промелькнуло в ее мозгу. — Кто скажет? Никто. Ведь никто не знает. Может, она сама. Ага!! — вдруг откликается что-то в ней. Она уже знает. Цвет папоротника ей скажет. Цвет папоротника! Она найдет цвет папоротника, и он сам ей все скажет, так, чтобы никто не знал, никто не слышал. Скажет. Кто найдет цвет папоротника, говорил ей однажды Гриць, тот все на свете узнает и свое счастье найдет. Вот и она будет

знать. Знать, как добраться до зла, как его убить. Она его убьет, — бушует в ее мозгу, — чтоб его нигде не было, ни в одном уголке на свете. Ни в ней, ни в Грице, ни в Настке... *Нигде* чтоб не было. Тогда будет хорошо. Но скорей, скорей, надо... идти... скорей... чтобы не было поздно...» — И с того самого места, где стояла, резко повернулась и помчалась в лесную глубь...

* * *

Тетяня молчала и так же молча вылетела из хаты, не удостоив Мавру ни одним взглядом. Нехорошо стало у Мавры на душе от этого молчания девушки. «Что смыкает ей уста?» — спрашивает она себя угрюмо. Ей страшно за девушку. Тетяня за этот короткий срок похудела, побледнела, глаза горят, сверкают странным блеском, а потом... Что еще *потом* будет? Чтоб на нее, не дай боже, тяжкая хворь не напала. Или... или... что еще хуже... да же страшно подумать — чтоб ума не лишилась... И такое бывает.

Тетяня доныне, у матери своей, беды-горя не знала. Сызмальства имела все, чего бы ни пожелала, это впервые в жизни над ней гроза разразилась. И вот с этим самым ребенком, которого вырастила, всю душу ему отдала, так тяжело повторилась ее собственная судьба. В глуши, среди гор, в тихом лесу, куда, казалось, не могло проникнуть никакое человеческое горе, зло повторилось... «С кем пришло это зло? — задает мысленно Мавра вопрос. — Кто положил ему начало?» Да он сам, тот хлопец, который так ей мил! Только глянула на него, как ей померещился тот, из пусты, из-за кого она погубила свою долю. Между ее судьбой и судьбой Тетяны только та развѣ и разница, что у нее все произошло в пусте, а у этой — здесь, в лесах...

Не выдержала Мавра в тесной хатенке наедине со своими мыслями о своем прошлом и о горе Тетяны — и вышла.

Стоял чудный теплый тихий вечер.

Звезды усыпали небо, точно расцвели там, и Мавра, усевшись на пороге своей хатенки, глядела некоторое время на луну. Она, круглая, выплыла как раз напротив, над лесистой стеной соседней горы и оврагом с шумящим на

его дне потоком, и будто нарочно остановилась над ее хатенкой.

Вокруг глубокая тишина, исполненная священной таинственности, в которой все погружается в безмолвие. Мавра сидит, смотрит, словно молится этой луне, а та, как бы озаренная светом раскаленных углей, неподвижно рдеет над горой. Вокруг, куда ни глянь, темные, покрытые лесом горы, которые в лунном сиянии, кажется, достигают небес и сливаются с ними.

Мавра взывает к луне, отдавшись всей душой молитве и Тетяниную горю. То она, то Грицы встают перед нею, терзают, ранят ей душу. Сердце ее разрывается на части при мысли о страшных страданиях бедной обманутой девушки, которая, сама не ведая зла и никогда не причиняя его никому, вдруг упала точно с небес в самую бездну. И все из-за него. Но, с другой стороны, в ее душе все настойчивее звенит струнка жалости к Грице. Он сирота, как он сам ей рассказывал, без матери, без отца, подкинутый ребенок. Приемыш. Откуда он, кто он, чьих родителей? Он не знал. На завалинке у хаты принявших его хозяев в лохмотьях найден; будто бы «в цыганских», как упрекала его порой хозяйка.

Мавру, вспомнившую эти слова, точно в жар бросило. Ее ребенка взяли у нее из-под бока, а у богатых хозяев в третьем по счету селе отсюда был найден на завалинке «в цыганских лохмотьях» какой-то подкидыш.

— Господи боже! — вздыхает она и поднимает умоляюще, с безмолвной мукой руки и точно теряет разум от мысли, что... может быть... может быть... *может быть*, — даже крикнуло что-то в ее душе, — это *ее сын*! Он ведь так похож... на ее милого из пусты, а ее ребенок *белый* был, господи боже, *белый*! Но нет, нет, это она тут от одиночества, а теперь еще и от жалости к Тетяне, совсем обезумела, сошла с ума. Ох, Тетяня... отозвалось болезненным стоном ее сердце... Жизнь Тетяны разбита. Им разбита.

Но виноват ли он?

Порой, рассказывая ей, оправдываясь за свой поступок с Тетяной, порой его куда-то так тянуло в иные края, вдаль, на край света, что, кажется, шел бы да шел куда глаза глядят. Он выискивал какой-нибудь предлог, садился на коня и уезжал из дому, лишь бы только быть в пути, переменить место. В такую-то тоскливую, добрую или злую минуту повстречался он с Тетяной в лесу. Полюбил от всей души. Помирал по ней. Видел ее перед собой и

днем и ночью, ее глаза, ее черные брови, ее красные цветы, слышал ее смех и терял рассудок. Выкрал бы ее из хаты, как вор, убежал бы навеки куда глаза глядят, если бы она его не полюбила. А коль полюбила, то они в лесу встречались и все было хорошо. Но на Настке он обязан жениться. Таков уж он есть. Хоть убей его, а он уж таков. И что с ним поделаешь?

— Да и вы сами, матушка, — сказал он ей, — предостерегали, гадая на картах, не любить черных глаз, потому что, говорили вы, «черные с синими в пару не ложатся. Бери такие, как твои, будет твоя доля ясная». — И вот у него тоже не сложилось. Обязан Настку брать. И только одна эта Настка его близ себя удерживает, любит и прощает ему все, что бы он ни сделал. Она всегда к нему добра. Потому-то она ему и сужена, и он ее не бросит. Тетяня у своей матери единственная дочь, горя не узнает, плачет, погрузит, а потом, после всего этого... за другого выйдет. Он о ней не беспокоится, хоть ему и жаль красной Туркини, она ему в сердце, верно, навсегда запала. Но что из этого? Ему не суждено...

Вот что он говорил, когда она у него была, и многое другое.

Глядя прямо перед собой на горы, на усеянное звездами небо, на луну, она горько усмехнулась. Как ее, Мавру, никто не жалел, ни он сам, ни муж, ни родные, так и бедную Тетяню теперь и этот не жалеет. Вот что такое любовь!..

Погруженная в такие мысли, Мавра, всплакнула, даже не заметив того. Бог знает как перенесет свое горе бедная дивчина. А ее мать? Весь век свой молилась за своего ребенка, людям добро делала, ее самое от смерти, от голода спасла, — и вдвоем они, словно одна мать, над дивчиной дрожали, оберегали ее, а все же от горя-печали не уберегли. Вот ушла она сегодня, точно подстреленная, не произнесла ни слова. О чем она думала? Чем было переполнено ее сердце? Словно говорить разучилась, — так ее печаль-горе изменило.

И думает-гадает старая Мавра о судьбе юной Тетяны и так и этак и ничего не может придумать. Дала бы любистку, паслену Грицю, чтоб его к девушке вернуть, да ведь вон как Тетяня на нее накинулась, стоило об этом только заикнуться. Просто с ума сошла. Минуту разговаривает нормально, а потом... опять будто с ума сходит. Но и Гриця ей жалко... Настки, на которой он женится, она не зна-

ет, а Тетяню знает. О, ее Тетяня! Почему не подошла она ему в пару? Почему не выпало ему счастье соединиться с ней? Любить не до конца? До конца! Красотой своей? Но он же красив, точно месяц на небе. Чем-нибудь другим? Она не знает. И чувствует, что не в состоянии во всем этом разобраться, что-то ее путает, сбивает ее с толку... Но все-таки ей жаль Гриця; хоть и нет причин, хоть она для него чужая, бедная цыганка, которую он, может, никогда больше и не вспомнит, — ей почему-то жаль Гриця, и она не испытывает к нему вражду. Сердце не позволяет.

Было уже около полуночи, а Мавра все сидела, теряясь в догадках.

Сон не приходил к ней.

Луне, звездам молилась, погруженная в печаль. «Переживал ли кто-нибудь такую сожженную горем ночь, такой одинокий, заброшенный в глубине леса, как она?» — спрашивала себя Мавра.

Нет. Она не одинока.

Вокруг нее столетние деревья, над головой луна, а внизу, в пропасти, поток. Бежит он, шумит в священном спокойствии ночи, отражая в блеске люющего серебра магическое лунное сияние, а в вышине звезды...

Не одинока.

— Господи, смилуйся над нами, отпусти нам грехи наши, — прошептала Мавра, ударив себя несколько раз в грудь, и ушла в хату.

* * *

Светлица Иванихи Дубихи слабо освещена.

Перед большой иконой пресвятой богородицы горит, мигает огонек. Иваниха Дубиха лежит полуодетая в своей постели и прислушивается. Тетяня, которая лежит от нее недалеко, с боку на бок переворачивается... и время от времени что-то непонятное бормочет.

— Не спишь, доченька? — спрашивает, наконец, мать, которая еще глаз не сомкнула и переживает с новой силой горе дочери, стережет ее каждое движение.

— Нет, — отвечает Тетяня и срывается с постели. — Что это шумит, мама? — спрашивает она.

— Это же наша речка, доченька.

— Речка?

— Да. На которой наша мельница и дом стоят. Ты спи, доченька, спи. Господь с тобой. Он тебя охранит. А у твоей матери одна ты только на свете... Спи...

— Я иду, мама, я иду,— отвечает Тетяна торопливо, и вот уже стоит перед матерью, смотрит на нее чужим лихорадочным взглядом.— Я иду.

Мать пугается, млеет от жалости и страха.

— Куда ты идешь, моя рыбка? — спрашивает мягко, вполголоса мать и осторожно берет руку дочери в свои ладони.

— Цвет папоротника искать,— отвечает девушка торопливо.— Буду все знать, говорил Гриць, все. Я иду, мама...

Мать с испугом видит перед собой только два блуждающих черных глаза на бледном исхудавшем лице.

— Не ходи сейчас, доченька, ночью,— успокаивает она, давясь слезами,— теперь полночь. Пойдешь завтра. Меня одну оставляешь?

— Завтра не полночь,— отвечает Тетяна и тут же, будто очнувшись, послушно садится около матери.

— Завтра не полночь, доченька. Завтра воскресенье.

— Воскресенье. Да, да, воскресенье,— подхватывает Тетяна и добавляет, задумавшись, вполголоса: — Мавра говорила: «В воскресенье утром рано»,— и вдруг замолкает, словно стараясь что-то припомнить... А через минуту начинает снова: — В воскресенье утром рано...

— В воскресенье утром,— подхватывает и мать, соглашаясь.— В воскресенье утром пойдешь. Вдвоем пойдем богу помолиться.

— Цвет искать,— вздрагивает Тетяна и беспокойно шарит по комнате блуждающим взглядом, ища чего-то.

— Цвет искать,— повторяет спокойно вполголоса мать, обнимает и прижимает к себе больную дочь, а глаза ее застилают слезы.— Успокойся, доченька, успокойся. Спи, доченька, спи! — говорит она, гладит и прижимает к сердцу, как малое дитя.

— Все буду знать,— говорит нараспев, вполголоса, Тетяна и прижимается крепко, доверчиво к материнской груди, прикрыв глаза, словно засыпая.— Все... буду знать...

— Все будешь знать,— отвечает мать тоже вполголоса.

— А раньше чем *выпадет снег, буду в твоей хате*,— откликается Тетяна.

— Будешь в моей хате,— осторожно, шепотом отвечает мать, догадавшись, что дочь разговаривает с Грицем.

— Я при-и-ду! — кричит вдруг сдавленным голосом почти беззвучно Тетяна, прижавшись лицом к материнской груди.— Я приду.

— Приди, ласточка, приди,— отвечает по-прежнему шепотом мать и перестает дышать, чтобы не тревожить ее безумия, лишним движением не усилить его.— Приди!

— Я Туркия...

— Туркия моя гордая.

— Твоя единственная на свете...

— Моя единственная на свете...

— Твоя,— шепчет Тетяна, как засыпающий ребенок.

— Моя...

Наконец, все стихло.

Тетяна дышит беспокойно, а мать обливается горячими слезами.

— Твоя,— шепчет едва слышно Тетяна.

— Моя.

Наконец, все стихло...

Иваниха Дубиха не шевелится, а только глядит, точно на икону, на бледное лицо своей несчастной дочери, которая то приходит в себя, то снова начинает бредить.

После нескольких мучительно долгих минут она успокаивается...

Иваниха Дубиха склоняется в последний раз над ней, смотрит сквозь слезы и вся дрожит.

Спит Тетяна? Так тихо... тихо...

Да. Кажется, спит.

Но нет.

Не спит. Вот она поднимает голову, покоившуюся на материнской груди, открывает свои большие блуждающие глаза и спрашивает опять:

— Что это шумит, мама?

— Это наша речка.

— Речка?

— Да, доченька. Над которой наша мельница и наш дом стоят.

Тогда Тетяна вновь закрывает глаза и, прижимаясь с необыкновенной нежностью и доверчивостью к материнской груди, улыбается и начинает вполголоса напевать:

Гей, на Ивана, гей, на Купала... гей, гей, гей!
Красна дивчина счастье искала — гей, гей, гей!

— Гей, гей, гей... — вторит ей мать, всхлипывая и глотая слезы. — Гей, гей, гей...

— Счастье искала, — произносит в последний раз, засыпая, Тетяна.

— Счастье искала, — слышится замирающий шепот из уст матери...

* * *

В воскресенье рано утром бежит Тетяна в лес.

Мать не удерживает ее, видит — хуже, если противиться. Пусть, думает, отгорюет свое горе в лесу, где его раздобыла; пусть будет у нее некоторое время полная свобода и воля во всем, чего она только не пожелает, а там будет видно...

Здесь в долине, она не в силах ее успокоить, поэтому, как хочет дочь, пусть так и будет. В тиши леса она постепенно поправится. День ото дня она все больше будет успокаиваться. А там... может, и старая Мавра понемногу отвлечет ее своими речами, она же ей как вторая мать, а сама она, родная мать, пока что бессильна.

Словно чужие ноги несут Тетяну то вверх, то вниз по белой тропинке; глаза то широко раскрыты, то прикрыты, будто она дремлет, и все помыслы ее только о зле, только о том, чтоб его убить. Вот она очутилась около Мавры.

Но зачем ей к Мавре? Она, кажется, к ней не собиралась. Она за цветом папоротника пришла. Ага! — приходит в себя она вдруг. — Она хотела, чтобы Мавра спросила о Грице, посоветовала, как зло убить. Мавра? — она раздражается смехом. — Мавра не даст совета. От Мавры ее что-то отталкивает. Она боится Мавры, Мавра уже не любит ее... Любит Настку.

Отчаяваясь так, Тетяна не заметила, как очутилась у раскрытого Мавриного окна...

Да. Она боится Мавры. Поэтому она спрячется от нее под окном. С этой полубезумной мыслью она прижимается под окном, на завалинке, к стене и, запуская руки в давно нечесанные, свисающие черным шелком на плечи

волосы и зажмурив глаза, сидит неподвижно. В ее душе творится что-то страшное. Она не знает, зачем пришла. Забыла, чего именно хочет. Ох, как страшно! Может, вспомнит... и, словно припоминая, бессознательно тербит волосы.

Слышит ли она какие-либо звуки вокруг?

Нет.

В ее голове все смешалось: и Мавра, и Гриць, и цвет папоротника, и венок в ночь под Ивана Купала, и то зло, что в *Грице* укрылось и которое она должна убить... она окончательно перестает что-либо понимать и бессознательно продолжает терзать свои длинные шелковистые волосы.

Вдруг... она высоко поднимает черные брови... что это? Как она этого раньше не слышала? В Мавриной хате мужской голос. Она напрягает слух... и слушает. И, слушая, словно вновь обретает разум и с каждой минутой все больше бледнеет.

Из Мавриной хаты доносится тот самый голос, который сообщал ей, что Гриць женится на Настке, что любит двоих сразу. Он как раз говорит о том, чтобы им обоим, Мавре и ему, не ходить теперь к Грицю признаваться, рассказывать ему, чей он сын, так как он цыган не любит, и это может еще и его хозяев против него восстановить, коли те узнают, что он... сын бедной цыганки и внук цыгана. Лучше, советует этот голос, переждать до его свадьбы с Насткой. Ровно через неделю, в воскресенье, их свадьба. Они подождут и уж после свадьбы пойдут к нему и расскажут все. Но тут Тетяна снова утратила душевное равновесие. Услышав опять о свадьбе Гриця и Настки, она закричала не своим голосом и с быстротой молнии сорвалась с места. А когда Мавра, испуганная безумным криком, выбежала на порог, а вслед за ней и старик Андронат, Тетяна уже опять мчалась по лесу...

Опять этот страшный нищий, выскочивший точно из пекла, тот самый и повторивший то же самое! Опять про Гриця и Настку. О, о, о! Опять, и опять, и опять! И опять творится с нею что-то, чего она не понимает. Бежала до тех пор, пока хватило у нее сил, карабкалась на гору, буд-то за ней кто-то гнался, а потом бессильно опустилась на землю и видит: она у Белого камня. Да, здесь она с ним встречалась, и здесь он сейчас будет.

— Гриць! Я здесь! — Кричит она далеко разносящимся зовущим голосом и ждет. Но недолго ждала. У нее воз-

никла новая мысль: «Придет он?» И тут же появляется другая: «Кто виноват? Синеглазая Настка? О нет. Настка не виновата. Гриць виноват. Он — нет. Это зло во всем виновато. *Зло в нем укрылось* так, чтобы его никто не мог найти, это оно не пускает Гриця прийти к ней, оно погубило ее счастье. *Это оно* виновато. Она его убьет. Она его в Грице обнаружила, и она его в нем убьет. Да, в нем. И после этого зла не будет нигде. Нигде, нигде на всем свете. Сейчас она пойдет к Грицю и расскажет все. Пусть знает и он. Она идет к Грицю...» — И, приподнимаясь на руках с земли, она вдруг останавливает взор своих широко раскрытых глаз на широколистной траве, выбивающейся из-под Белого камня.

— Гей, сколько его здесь! Его здесь полно! Гей, Мавра! — зовет она, задыхаясь от какой-то дикой радости. — Твоего зелья полно!

«Ага, Мавра, — мелькнули у нее какие-то воспоминания о старой цыганке, и снова все перепуталось. — Что говорила Мавра про зелье из-под Белого камня? — На миг она задумалась. Она вспомнила. *Оно от всякого зла*, — поучала Мавра. *«В воскресенье рано утром, — говорила, — зелье копать, в понедельник пополоскать, во вторник варить, а в среду... в среду?»* — роятся в ее голове мысли, но на этом обрываются...

Она снова усаживается на землю возле травы, подняв высоко черные брови, и припоминает. *В среду?* «В среду», — что-то говорила Мавра. — Ага, она уже знает, — вдруг мелькнуло молнией в ее мозгу. — В среду, говорила Мавра, зельем зло во сне приспать, а в воскресенье свадьба!!!

Да. В воскресенье, говорил нищий, в воскресенье свадьба. И Тетяня опять засматривается на зелье. Его здесь полно. Прямо само в руки лезет, значит, нужно рвать. Мавра будет рада, а она убьет зло, что в Грице укрылось. Но... скорей... скорей... чтоб не убежало... И судорожно, дрожащими пальцами, с поспешностью почти уже обезумевшего человека, точно за спиной кто-то стоит и подгоняет ее, она копает, рвет траву и прячет ее в подол. Потом, нарвав ее сверх всякой меры, вскакивает на ноги, откидывает голову назад так, что ее длинные волосы почти касаются земли, и кричит во весь голос:

— Я приду. — И вслед за этим, подражая трели жаворонка, счастливым голосом зовет: — Лю-блю!.. — Потом умолкает и, глядя своими большими глазами куда-то

вдаль и высоко подняв брови, слушает: от скалы на противоположной стороне, будто только теперь до нее дошло, — откликается через пропасть и тут же замирает: «Люблю!»

* * *

Это было в среду вечером перед свадьбой.

Мавра стоит около лавки и перебирает при огне зелье, раздумывая, какое бы дать Тетяне, чтобы утишить ее тоску по Грицю. Она как раз сегодня была опять у Иванихи Дубихи, которая за это короткое время от горя поседела.

Но вот уже она и перебрала все зелье. Она даст Тетяне зелье из-под Белого камня. Оно хорошее, чудодейственное. Коли дать немного — оно в сон бросает; с наговором — сердцу и голове дает покой; а дать много, иной раз и к смерти привести может.

Вдруг мысли ее прерываются. Нет, сегодня она уже не может Тетяне дать зелье. Уже поздно, и Тетяны дома нет. Разве что завтра. Уж третий день, как она, несчастная, по лесам блуждает, даже где-то в соседнем селе ее видели, там она и ночевала. К тому же сегодня обещал и отец прийти, и, может, он сейчас явится, — так что она не уйдет из дому.

Так раздумывала Мавра, перекладывая и перебирая свои травы.

На всех горах вокруг, сколько их тут ни вздымается, нет счастливей человека, чем Мавра. Она нашла своего отца, которого считала мертвым, и знает, что Гриць с венгерской границы, приемыш Михайла Дончука, — это ее украденный сын. Узнав обо всем этом, она обезумела от радости. Она, бедная, изможденная цыганка, одна-одинешенька на всей горе, во всем лесу, она — мать красавца хлопца, а ее отец Андронати жив. Был вот здесь. Он узнал случайно от Гриця и Настки, что на Чабанице живет цыганка-ворожейка, одна-одинешенька, и тотчас же отыскал ее.

Господи боже! Плакала она от горя, от нищеты, от забот, от обид и скорби, но плакала также и от радости, когда отец вошел к ней в хату и они узнали друг друга! Он едва узнал ее — так она постарела, а она просто перепугалась при виде его длинной белой бороды и сгорбленных плеч. А после этого пришла пора каяться. Он уже был раз

возле ее хатенки суровой зимой. Просил, умолял, а она его не впустила! А они еще тогда бы могли найти друг друга, он бы, седоголовый, жил вместе с нею, не пришлось бы ему возвращаться жестокой зимой в Венгрию. Мавра каялась, горько рыдая. А ведь уже тогда предсказывали ей карты, что к ней в хату придут двое мужчин.

Старый и молодой. С одним счастьем, с другим горе.

— С вами счастье, — быстро сказала она, — с вами счастье, а с кем же горе?

— Был ли у нее еще кто из мужчин, — спросил старик, — после того как она его не впустила? Нужно было помнить. Припомни.

Она думала, вспоминала и вдруг припомнила! Только один был — гордый-прегордый хлопец на вороном коне. Ему она и на картах ворожила, его долю угадывала. Предостерегала, чтоб двоих не любил, и предвещала далекую дорогу; счастье ему выпадало, но терялось где-то по дороге, однако этого она ему не сказала. Он ей хорошо заплатил...

При этом рассказе глаза старого Андронати усмехнулись черным блеском.

Не спрашивала ли она, как его нмя? — задал он вопрос.

Не спрашивала. Знает только, что он вызвал в ее душе тоску: таким, как он, был только тот, кого она, грешная, любила и из-за кого в беду попала. Молодой и красивый. Точненько на него похож.

Тогда рассказал ей старый отец, как он поступил с нею, чтобы спасти ей жизнь, на которую покушался Раду. Как опоил всех напитком, заправленным зельем, а затем и ее тоже, чтобы можно было ее унести. Слава богу, ему все удалось. А ребенка он вынужден был подкинуть богачам, чтобы его не убил Раду и чтоб не погиб в лесу возле больной матери, а узнал бы лучшую долю, чем цыганская... О ней, Мавре, он не беспокоился, надеялся, что она не пропадет, найдет пристанище среди добрых людей и когда-нибудь он ее отыщет. Внуку он не признавался, чтобы не повредить ему его цыганским происхождением, но постоянно, время от времени, навещался туда, чтобы знать, как ему живется. И убедился, что в добрую минуту подкинул ребенка, мальчик оказался в хороших руках.

А теперь он взывает к самому ее сердцу не признаваться еще сыну — до поры, пока хозяин не выделит ему земли, пока не станет он сам хозяином в собственной хате. Его хозяева — люди зажиточные, гордые, они могут и его,

деда, и мать из своей хаты выгнать, а хлопца не наделить землей. Пускай она еще подождет, пусть помолчит, как и он, и все получится хорошо! И для хлопца и для них. Вот он сам сколько лет молчал, как каменный, и вышло к лучшему. Гриць скоро женится, перейдет на свое хозяйство, а его невеста, добрая белолицая дивчина, зажиточная, обещала, что они примут его, старика, к себе. Он ей оказал одну услугу и на ее помощь больше всего рассчитывает. А коли он у них поселится, и Гриць от своей матери не откажется. Теперь пусть она еще помолчит и счастье хлопцу не портит. Они пойдут на свадьбу и будут издали, как нищие, поглядывать, он их звал, а там... пусть она подождет. Придет время, они заговорят. Мавра не соглашалась. Плакала, рвалась к сыну. Но отец бранился, проклинал и даже, по своему старому обыкновению, в гневе несколько раз ее ударил. И лишь тогда Мавра подчинилась его приказанию, вяла его совету...

Теперь только одно омрачает ее счастье, одно угнетает ее, давит. Огромное горе Тетины, причиной которого является ее сын, и страдания доброй Иванихи Дубихи. Почему Гриць не любил Тетину до конца? До конца? — спрашивала себя чуть ли не в сотый раз в отчаянии Мавра. — Какой бы тогда все приняло оборот и для них обоих, и для ее несчастной матери, и для нее самой! Почему, сыночек мой, раздвоил ты свою душу? А тут еще и она сама содействовала Тетинной беде, гадала ему, предостерегая его... от черных глаз!..

Тоска и жалость к Тетяне не дают ей ни спать, ни есть. Не на всю ли жизнь это у Тетины? Кто знает, обретет ли когда-нибудь полностью разум Тетянка? В иные минуты она словно бы в своем уме, рассказывала ей Иваниха Дубиха, а минутами — ее разум омрачается, она не узнает, не видит никого и все только Гриця вспоминает и зло. Чем это кончится? Почему, боже, людям так тяжело до счастья добраться? Вот хотя бы теперь и ей. Сына нашла, а Тетяну — теряет. А уж даже сама не знает, кто из них теперь ближе ее сердцу. Он или она? Теперь он венчается, а она останется обездоленной, разбитой...

Почему Тетяна ей не доверилась?.. До конца, сразу же, с самого начала? Почему она так таилась, боясь, чтоб мать не узнала? Как тут теперь помочь? Как избежать беды? А беда тяжкая! Мавра даже заплакала, вспомнив молодую девушку, такую прекрасную — и погубленную ее собственным сыном.

Потом она горько усмехнулась. Вот же как сын в отца пошел! Две души в нем. К Настке тянулся, а ее Тетяну любил. Эх, кабы Тетяна тогда сразу во всем призналась. Эх... *Кабы!* Кабы она тогда знала, что ее сын жив. Тогда! Но отец... и ее мысли сразу же оборвались. Она виновата. Она, только одна она. Ее отец еще вон когда просился к ней. Умолял, а она не впустила. Тогда он ее проклинал. А его проклятие страшно. Не заклинал ли он тогда ее счастье, не накликал ли горе?

Не виноваты тут ни Гриць, ни Тетяна, а виноват... виноват... кто? — спрашивает себя Мавра и плачет. — Гриць, сынок мой, почему ты в отца пошел? Почему не в мать... — и тут снова ее мысль оборвалась. Да была ли она, мать его, *лучше?* У нее же был муж, и она изменила ему. О, о! — вдруг застонала она и от горя заколотила кулаками себя по голове. «Грех, грех, грех! — рыдало ее сердце. — Какой страшный, большой, смертный. *Грех* виной всему, только он один!..»

Но она еще спасет Тетяну. Будь что будет. Тетяну она спасет. Лишь бы дотянуть до воскресенья, лишь бы состоялась свадьба, и тогда она примется за нее, вернет ей разум, вылечит. В воскресенье рано-ранехонько пойдет к Белому камню, соберет зелье, станет пробовать. Сначала этим зельем будет понемногу усыплять ее, после этого — шептаньем, а потом, через семь недель, молитвой к молодому месяцу, — пока она не успокоится. А там... мало-помалу она Гриця забудет и выйдет за другого.

Так думает и передумывает на всякие лады Мавра, перебирая и приводя в порядок разные свои травы, какая для чего годится, как вдруг слышит... кто-то постучался в дверь.

Она вздрогнула.

Кто к ней в такой поздний час? Ведь уж далеко за полночь. Она еще не ложилась, поджидая отца. Побрел за подайником в ближний городок. А она тут со своими скорбными мыслями, перебирая всякое зелье, засиделась до поздна.

Не Тетяна ли это?

— Кто там? — с обычной своей опасливостью спрашивает она и прислушивается.

— Это я! — отвечает чей-то голос.

— Тетянка? — спрашивает Мавра и прислушивается: может, это она, несчастная, по лесу блуждала и на огонек к ней забрела.

— Нет. Это — я! — отвечает опять прежний голос. Мавра открыла двери.

Перед ней стояла девушка. Высокая, молодая, с бледным-пребледным лицом, с заплаканными глазами.

С любопытством приглядывается к ней Мавра, и ее охватывает при виде этой девушки тяжелое предчувствие.

— Чего тебе, доченька, в такой поздний час? — спрашивает она. — Сейчас далеко за полночь. Ну, садись вот сюда. Твои глаза плачут. И сердце тоже плачет? У кого в сердце боль, пусть идет к Мавре, — бормочет, точно молитву, Мавра, а сама прямо пронизывает ее насквозь своими сверкающими глазами.

— Ой, спасайте, матушка! — кричит девушка в отчаянии и падает на скамью.

— Мой суженый захворал, может, умрет. Во сне говорит, никто не понимает его. Ой, матушка, спасите! — и начинает рыдать. Потом сползает со скамьи на пол, простирает вверх руки и молит: — Царю ты небесный, чем я провинилась? За что меня караешь? Я же не виновата. Я верно его любила, тело, душу ему отдала, это... она... она! — и, не кончив, снова горько зарыдала.

— Успокойся, доченька, — говорит Мавра, поднимая девушку. — Скажи, что с твоим суженым и чья ты, и я, коль смогу, помогу вам, в беде не оставлю.

— Я Настка, суженая Гриця! — восклицает девушка в невыразимой тоске и опять простирает умоляюще руки к Мавре: — *Его опоили.* Утром он позавтракал, потом впал в сон и с той поры все спит и спит. Спит мертвым сном. Сначала во сне еще бредил, что кто-то там шел, что он сейчас *придет*, а потом умолк...

— Нареченная Гриця? — вскрикнула Мавра, а сама тормошит девушку, как сумасшедшая.

— Гриця. Да, Гриця! Я его суженая, а в воскресенье, матушка, наша свадьба...

— Гриць! — закричала Мавра страшным, полным отчаяния голосом и повалилась на землю... — Сын!!! Сын ты мой, *сын!* Вот он уже гибнет, вот уже уходит, чуть только успела найти! Гриць, подожди свою мать, она уже идет. Дождись, не умирай! — Последние слова, сказанные с какой-то нечеловеческой силой и властью, произвели и в ней самой необычайную перемену. Она вскочила на ноги, схватила котомку со своим зельем, рванула девушку за руку, и обе понеслись...

Бежит старая Мавра с горы против ветра, не чувствуя

ног, тяжело дышит, стонет. Летит вдогонку за ней Настка и вот-вот упадет. Только одно ее поддерживает — вера в Маврику силу, а если б не это, она и шагу бы дальше ступить не могла.

— Его опоили, его отравили! — не перестает кричать она старой Мавре, — под окном нашли склянку, а наш пастух видел девичью фигуру, как она неслась по лесу, какая-то чернобровая...

— Тетяна! — кричит Мавра и останавливается. Ее пробирает мороз, она крестится. — *Вот что значит грех, что значит грех!* — стонет она и еле ступает — дальше идти не в силах...

Было утро четверга, когда они пришли до места; а когда пришли, все уже было кончено. Гриць уже преставился...

* * *

Возле хаты Гриця — печаль и торжественная тишина. Склонили головы старые хозяева, все, кто Гриця знал. Склонили в скорби и молчаливо ждут. Замертво лежит в хате белолицая Настка, молодяцы плачут. Товарищи, хлопцы проходят, утирая слезы. А матери, перешептываясь, крестятся и молятся...

Перед хатой только что закончилась тяжелая, горькая сцена. Цыганка Мавра в неслыханном отчаянии волчицей бросилась на своего старого отца. Он сына от нее забрал, голосила она, и подкинул богачам, чтоб тот узнал лучшую долю, чем цыганская, и вот какая доля постигла его в богатстве...

И ни один человек доныне не видел, чтобы кто-нибудь тут так рыдал, так вел себя, как эта бедная цыганка. Она бросалась лицом на землю, раздирала на себе одежду, простирала вверх в отчаянии руки и все время что-то бормотала, одновременно пела, и рыдала, и приходила в отчаяние, пока не обессилела.

Старый Андровати сперва защищался, а потом умолк. Опершись всей тяжестью своего дряхлого тела на нищенский посох, он молчал. Он не заметил сам, как стихли рыдания его изнемогшей дочери, и заслушался печальными звуками трембиты, которые разносились по горе, недалеко от хаты.

Эти звуки своей печалью напоминали ему что-то давно минувшее.

Давным-давно, очень давно трембита звучала так же печально, — вспомнилось ему.

Он стоял тогда рано утром, до восхода солнца, высоко на горе, близ этого села, и держал на руках белого внука... Держал и в сером утреннем тумане старался рассмотреть ребенку счастье. Туман не рассеивался. Не видел он тогда за туманом солнца, но оно было! У его внука было счастье. Оно ожидало его, как то раннее солнце за туманом, — почему же внуку оно не досталось?

* * *

Среди других в хате и Иваниха Дубиха.

Поджидает Тетяну. Может, хоть сюда она явится. Дома ее не было; и никто нигде ее не видел. Бродит и бродит по лесам, людей избегает.

Придя сюда, Иваниха Дубиха точно онемела. Никто от нее слова не услышит. Словно она лишилась языка. Только время от времени дрожащей рукой запикивает под свой черный платок выбившиеся оттуда белые пряди. И ждет.

Может, все же дождется...

Люди поглядывают на нее, перешептываются, а ей это безразлично. Ее глаза не плачут, губы сжаты, только душа ее все более и более цепенеет.

Но вот у порога шорох. Ее Тетяна? Нет. Это Мавра с отцом вошла в хату, всматривается в лицо сына. Вдруг — что это? Сыне божий! Со двора в раскрытые окна доносится вение прерывистое, чудное.

Иваниха Дубиха белеет, на ногах не держится; на этот раз это Тетяна.

Да. Это она.

Высокая, худая, бледная, с растрепавшимися волосами, украшенными красными маками, с невидящими глазами, — это она.

Никто не шевелится.

Входит и, высоко поднимая свои черные брови, прикладывает палец к губам, будто приказывая молчать, и проносит нараспев: «В воскресенье утром рано я зелье копала, в понедельник утром пополоскала... тс-с, Мавра, —

добавляет она просящим голосом, — *во вторник*, Мавра, — произносит она, прищурив глаза, будто вспоминая о чем-то, — *зелье я варила, а в среду утром...* — и вдруг обрывает... — *тс-с*, Мавра, — просит она с поразительной нежностью в голосе и совсем безумными глазами, — *тс-с*, я зло убила... *твоим зельем*, Мавра, из-под Белого камня. А он проспится. *Тс-с!* А в воскресенье свадьба. *Тс-с!* — и, умолкнув, она ждет с минуту, откинув, точно от сильного утомления, голову далеко назад, и прикрывает глаза... Все окаменели.

Нет, не все. Мавра молча, змеиными, бесшумными движениями приближается к ней.

— *Сука!* — закричала вдруг она не своим голосом. — *Ты моего сына отравила. Ты, ты, ты! Сгинь!* — и ударом кулака валит девушку наземь. Но тут Иваниха Дубиха очутилась возле дочери.

— Стой! — крикнула она так, что все задрожали. — *Меня добей*. Она уже готова, ты меня *добей!*

Потом, поднимая дочь, судорожно схватившуюся за свои цветы, спросила побелевшими губами:

— Доченька моя любимая, *единственная* моя на свете, — *ты* Гриця отравила?

Тетяна улыбается.

— *Тс-с*, Мавра, — шепчет она, поднимая высоко черные брови, — *зло в нем укрылось...* *тс-с!* Уж нигде теперь зла не будет...

— Доченька! — умоляет еще раз мать с какой-то нечеловеческой силою и нежно прижимает дочь к себе, точно малое дитя. — Ты? Скажи правду всем, ты? Как перед господом богом скажи...

Тетяна долго смотрит матери в глаза, будто что-то припоминая, а потом, прижавшись с чисто детской нежностью к материнской груди и судорожно хватаясь, как прежде, за свои цветы, начинает сладко и нежно, вполголоса, будто рассказывая свою тайну, петь:

Гей, на Иоанна, гей, на Купала... гей, гей, гей!...
Красна дивчина счастье искала — гей, гей, гей!...

И, вымолвив последнее слово, она вдруг с неистовой силой вырывается из объятий матери и вылетает стрелой из хаты...

Молча... без единого слова... рухнула Иваниха Дубиха наземь...

* * *

Похоронили Гриця, разошлись люди.

— Пойдем, Мавра, — обратился, когда все кончилось, старый Андронати к своей дочери. — Пойдем к цыганам. Теперь мы здесь опять нищие...

— Пойдем, отец, — говорит Мавра голосом, жестким, как камень, и подает старику в руки длинный посох. — На этом уж мой грех окончился.

И пошли.

Чуть колышутся только сосны и пихты, которые они мимоходом, идя белой тропинкой, слегка задевают, и колышется еще лесной шум в воздухе, успокаивая порванные струны в их душах, — до поры, пока они не вышли из лесу: а когда покинули его, он сразу исчез из их глаз, и над лесом склонилась ночь...

* * *

Иваниха Дубиха обыскала вместе с людьми чуть ли не весь лес и едва ли не все тайные убежища, куда заходила Тетяна, — и не нашла ее нигде. Она исчезла без следа. Близится уже глубокая полночь, а Иваниха Дубиха, лежа, обессиленная, на своей постели, все время прислушивается. Ей сердце подсказывает, что Тетяна вернется: вот скоро уже наступит полночь. Вот-вот она услышит шорох. Тетяна вернется сама, как не раз уже бывало. Вот-вот рассвет. И хоть бы уже скорей рассветело!.. А когда она вернется, она заберет ее с собой в монастырь и посвятит ее господу богу. Один господь ее исцелит-укрепит. Один господь — и да будет потом его святая воля...

В хате тихо, как в церкви, только маленький огонек мерцает, порой потрескивая, перед иконой пречистой девы. Иваниха Дубиха ждет, прислушиваясь, и ее закрытые глаза наполняются непрерывно слезами.

Вот-вот — опять какой-то шум. Нет. Это река. Она не умолкает. Сколько раз ни пробуждается она от своего полусна, а река все ее дразнит, точно чего-то требует.

Вдруг... и теперь она не ошибается. Она слышит. Слышит ясно, только не может разобрать — что это? Не гудение ли пчел почудилось ей, или это нежные струны, или ангельские голоса? Не поймет. Но она слышит и не ошибается.

Ее слуха достигает легкий, как сонная греза, как рокот

пчел, как шелк, касающийся струн, удивительно нежный, певучий голос, который всю ее душу точно ввысь, к поднебесным облакам, поднимает:

Гей, на Иваня, гей, на Купала... гей, гей, гей!
Красна дичина счастье искала — гей, гей, гей!

Иваниха Дубиха очнулась, поднялась. Господи боже, это Тетяна! Да. Это был голос Тетяны. Она слышала отчетливо, что это был ее любимый голос. Она ищет под окном дверь и поет...

Иваниха Дубиха встает торопливо, как может, спешит, шатаясь, к дверям, открывает их и смотрит.

Она, должно быть, спала. На дворе ясный день, улыбается солнце и освещает все четко, но только Тетяны нет. Иваниху Дубиху прошиб холодный пот. Неужто пенье Тетяны только приснилось? Или она слышала его вправду? И тут в ее голове сверкнула страшная мысль, и она поспешила позвать домочадцев...

Идут все к реке, ищут ее и там. Может, найдут хоть там следы.

Пошли...

Не долго шли.

Там, где властвовала глубина, где камень-великан спокойно отмечал бездонную глубину реки, где утонул когда-то Тетянин венок, стоял неподвижно на сверкающей поверхности воды, прижавшись к камню, большой цветок красного мака. Второй, доплыв до самого берега реки, ждал — такой же неподвижный, как и тот...

Стоит Иваниха Дубиха и смотрит безмолвно на эти два цветка, а вместе с ней и все домашние.

Долго, долго смотрит она на цветы — затем отворачивается...

Увели Иваниху Дубиху.

Черновицы, апрель 1908.

ПРИМЕЧАНИЯ

Мысль о написании большого произведения по мотивам народной песни подает Кобылянской известный болгарский писатель П. Тодоров (1879—1916). Приводим перевод песни, взятой в качестве эпиграфа:

Ой не ходи, Грицю, на вечерини:
Ведь на вечериницах девки чаровничи,
Солому палит и зелье варит,—
Тебя, Грицуца, они отравят.

Там одна чернобровая и ревнивая,—
То чаровница справедливая!
И чаровница, и зелье знает,
В тебе, Грицуца, души не чаёт!

В воскресенье утром рано зелье копала,
В понедельник поволокала,
Во вторник зелье это варила,
А в среду утром Гриця отравляла.

Как настал четверг — свет навек померк,
В пятницу — в могиле Гриця схоронили;
Схоронили Гриця возле границы,
Плакали по нем все молодцы.

И хлопцы о Грице все горевали,
Чернобровую все проклинали;
Нет и не будет другого Гриця,
Как тот, что сгубила чаровница.

В субботу утром мать дочку бала:
«Зачем ты, сука, Гриця отравила?»
Не знала того, что от зелья будет?
Что Гриця уж крик петуха не разбудит?»

«Ой мама, мама! Обидя безмерна —
Пусть Гриця двоих не любит, неверный!
Вот тебе, Гриць, за это расплата:
Из четырех досок темная хата!»

Перевод П. Карабана.

ОЛЬГА КОБЫЛЯНСКАЯ

«В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ РАНО ЗЕЛЬЕ КОПАЛА...»

Повесть

Перевод с украинского И. В. Дорбы и П. С. Карабана

Редактор Б. В. Васильковский
Художественное оформление В. А. Ухляновой
Шрифтовое оформление Н. М. Галралакя
Художественный редактор В. А. Колоненко
Технический редактор О. П. Гринченко
Корректоры А. В. Кудрянцева, Н. Г. Лещенко

Информ. бланк № 3062

Сдано в набор 29.08.85. Подготовлено к печати 28.02.86.
Формат 84×108¹/₁₆. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура литературная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 9,66. Усл. кр.-отт. 9,87.
Уч.-изд. л. 16,249. Тираж 50 000 экз.
Знак 6-187. Цена 1 руб.

Киев, издательство художественной литературы «Дніпро», 1986.
252601, Киев-ГСП, ул. Владимирская, 42.

С фотоформ Головного предприятия
«Поліграфви́тис» на книжной фабрике им. Фрунзе.
310657, Харьков, ул. Довженко-Захаржевского, 6/6.

Кобылянская О. Ю.

К55 «В воскресенье утром рано зелье копала...»: Повесть / Пер. с укр. И. Дорбы и П. Карабана. — К., Дніпро, 1986. — 183 с.

Повесть классика украинской литературы Ольги Кобылянской (1863—1942) — основана на мотивах народной песни «Ой не ходи, Грицю, на вечеринки». Писательница воспевает красоту и неодолимую силу человеческих чувств, стремление людей жить полной, красивой и гордой жизнью.

К 4702590100—209 209.86
М205(04)—86

84Ук1-44

(61)